РОМЕН ГАРИ

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Европейское воспитание
Ромен Гари

Аннотация
Ромен Гари. Европейское воспитание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Эпилог

Аннотация

«Европейское воспитание — это когда расстреливают твоего отца или ты сам убиваешь кого-то во имя чего-то важного, когда подыхаешь с голоду или стираешь с лица земли целый город. Говорю тебе, мы с тобой учились в хорошей школе, и нас воспитали как следует».

Один из самых загадочных европейских писателей XX века Ромен Гари (1914–1980) написал свою первую книгу между боевыми заданиями во время Второй мировой войны, а уже в 1945 году роман «Европейское воспитание» удостоился престижного Приза французской критики. Роман был переведен на 27 языков, и теперь этот маленький шедевр поэтического реализма — впервые на русском.

Ромен Гари
Европейское воспитание

Памяти моего товарища, «свободного француза» Робера Колькана

1

Землянку закончили на рассвете. То был ненастный, дождливый сентябрьский рассвет; в тумане плыли сосны, и взгляд не достигал неба. Целый месяц они тайком работали по ночам: с наступлением сумерек немцы не отваживались сходить с дороги, но днем их патрули часто прочесывали лес в поисках немногочисленных партизан, которых голод или отчаяние еще не вынудили отказаться от борьбы. Нора была три метра в глубину и четыре в ширину. В углу они бросили матрас и одеяла; десять мешков картошки, по пятьдесят кило в каждом, выстроились вдоль земляных стен. В одной из этих стен, рядом с матрасом, выдолбили очаг: труба выходила наружу в нескольких метрах от землянки, посреди зарослей. Крыша была прочной: они взяли дверцу бронепоезда, который год назад подорвали партизаны на железнодорожном пути «Вильно — Молодечно».

— Не забывай каждый день менять ветки, — сказал врач.

— Не забуду.

— Следи за дымом.

— Хорошо.

— И самое главное: никому ничего не говори.

— Не скажу, — пообещал Янек.

Отец и сын с лопатами в руках любовались своим творением. «Хорошая *kryjowka*[1] — подумал Янек, — за кустами совсем не видно». Даже Стефек Подгорский, более известный в коллеже Вильно по кличке «Виннету, благородный вождь апачей» — в «краснокожей» среде Янек носил славное прозвище «Старина Шаттерхенд», — даже сам Виннету не догадался бы о ее существовании.[2]

— Сколько я здесь проживу, папа?

— Недолго. Немцев разобьют скоро.

— Когда?

— Не надо отчаиваться.

— Я не отчаиваюсь. Но хочу знать… Когда?

— Может, через пару месяцев… — Доктор Твардовский посмотрел на сына. — Прячься.

— Хорошо.

— И смотри не простудись. — Он вынул из

---

[1] Примечания: 1

Укрытие *(польск.). — Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания автора.*

[2] Примечания: 2

Имеется в виду приключенческий роман немецкого писателя К.Ф. Мая (1842–1912) «Виннету — вождь апачей», популярный среди европейского юношества. — *Прим. пер.*

кармана браунинг. — Смотри. — Он показал, как пользоваться оружием. — Береги его как зеницу ока. В сумке пятьдесят патронов.

— Спасибо.

— А сейчас мне нужно идти. Вернусь завтра. Спрячься хорошо. Оба твоих брата убиты… Ты — все, что у нас осталось, Старина Шаттерхенд! — Он улыбнулся. — Наберись терпения. Наступит день, и немцы отсюда уйдут… Те, что еще останутся в живых. Думай о матери… Далеко не отходи. Будь осторожен с людьми.

— Хорошо.

— Будь осторожен с людьми.

Врач растворился в тумане. Взошло солнце, но все оставалось таким же серым и расплывчатым: пихты все так же плыли сквозь марево, развернув ветви, словно тяжеленные крылья, которые не колышет ни единое дуновение. Янек пробрался сквозь туман и поднял железную дверь. Спустился по лестнице и лег на матрас. В землянке было темно. Он встал и попробовал развести огонь: дрова оказались сырыми. В конце концов ему все-таки удалось их поджечь, он лег и взял большой том «Виннету — краснокожий джентльмен». Но читать не смог. Глаза сомкнулись, тело и сознание сковала усталость… Он погрузился в

глубокий сон.

2

Следующий день он провел в своей норе. Перечитал ту главу книги, где Старине Шаттерхенду, привязанному к столбу перед казнью, удалось обмануть бдительность краснокожих и бежать. Это было его самое любимое место. Он испек на углях картошки и поел. Труба плохо вытягивала, и вся землянка наполнялась дымом, разъедавшим глаза… Он не решался выходить. Знал, что снаружи одному будет страшно. А в своей норе он чувствовал себя в безопасности.

Доктор Твардовский пришел с наступлением темноты.

— Добрый вечер, Старина Шаттерхенд.

— Добрый вечер, папа.

— Ты не выходил?

— Нет.

— Тебе не было страшно?

— Мне никогда не страшно.

Доктор печально улыбнулся. Он казался старым и уставшим.

— Мама велела, чтоб ты молился.

Янек подумал о братьях… Мама за них много

молилась.

— А зачем молиться?

— Просто так. Делай, как сказала мама.

— Хорошо.

Врач остался с ним на всю ночь. Они почти не спали. Но говорили мало. Янек спросил только:

— А почему ты тоже не спрячешься?

— В Сухарках много больных. Видишь ли, тиф… Где голод, там и эпидемии. Мне нужно быть с ними, Старина Шаттерхенд. Понимаешь?

— Да.

Всю ночь врач поддерживал огонь в очаге. Янек не смыкал глаз, наблюдая, как поленья сначала краснели, а потом чернели.

— Ты не спишь, мой мальчик?

— Нет. Папа…

— Да?

— Сколько это будет продолжаться?

— Не знаю. Никто не знает… Ни один человек.

Вдруг он сказал:

— На Волге сейчас великая битва…

— А где это?

— На Волге. Под Сталинградом… Люди сражаются за нас.

— За нас?

— Да. За тебя и за меня, и за миллионы других

людей.

Дрова горели и потрескивали, превращаясь в золу…

— А как называется эта битва?

— Сталинградская. Она длится уже несколько месяцев. И никто не знает, сколько еще она будет продолжаться и кто в ней победит…

Уходя на рассвете, доктор сказал:

— Если с нами что-нибудь случится, с твоей мамой и со мной, ни в коем случае не ходи в Сухарки. Продуктов тебе хватит на несколько месяцев. А когда кончатся и если заскучаешь от одиночества, иди к партизанам…

— А где они?

— Не знаю. Их немного осталось. Прячутся в лесу. Найди их… но ни в коем случае не показывай им землянку. Если станет худо, ты всегда сможешь здесь укрыться.

— Хорошо.

— Но не бойся. Со мной ничего не случится.

Доктор пришел через день. Пробыл недолго.

— Я не могу оставить маму одну.

— Почему?

— В Сухарках убили немецкого унтер-офицера. Они берут заложниц.

— Как краснокожие, — сказал Янек.

— Да. Как краснокожие. — Он встал. — Не опускайся… Будь опрятным. Делай, как учила мама.

— Хорошо.

— Не трать спичек. Держи рядом с очагом, в сухом месте. Без них умрешь от холода.

— Я все сделаю. Папа…

— Да, милый?

— Та битва?

— Ничего нового. Трудно сказать, что там сейчас происходит… Мужайся, Старина Шаттерхенд! До скорого.

— До скорого, папа.

Доктор ушел. И уже не вернулся.

3

В Сухарках уже пять дней квартировала дивизия СС «Дас Рейх», с трудом оправлявшаяся после нескольких недель, проведенных на Сталинградском фронте, откуда ее наконец-то отозвали отеческими заботами фюрера.

Дивизия впервые пошла в бой. Высшее командование с большой неохотой бросило это элитное подразделение в смертельную битву; обычно дивизия действовала в тылу, на оккупированных территориях, где ей поручали специальные деликатные задания, которые порой претило выполнять регулярным частям немецкой армии.

Спустя сутки после вступления дивизии в Сухарки два грузовика СС уже неслись на полной скорости по улицам деревни, утонувшим в серых туманных сумерках. Обнаженные ветви деревьев, колокольни и кровли словно бы слились с небом в бездымной, беззвучной неподвижности.

Они не встретили почти никакого сопротивления: большинство взрослых мужчин ушли в подполье.

Пара душераздирающих воплей, пара выстре-

лов, звон разбитого стекла и треск выломанных дверей — и вот уже грузовики на большой скорости помчались обратно, увозя два десятка перепуганных молодых женщин в летнюю резиденцию графов Пулацких в трех километрах к югу от Сухарок по дороге в Гродно.

Дивизия «Дас Рейх» уже не раз прибегала на оккупированных территориях к этой военной хитрости, почти всегда приносившей успех. Согласно историческому признанию гауляйтера Коха, который ее придумал, то был изобретательный маневр, соединявший «приятное с полезным» и подтверждавший «высокое, идеалистическое представление» о человеческой природе.[3]

Как только партизаны узнавали о том, что их дочери, сестры, жены и невесты отданы для услад немецким солдатам, они, несмотря на отчаянные усилия командиров, пытавшихся их удержать, выходили из леса и бросались на помощь своим женщинам, на что враг и рассчитывал. Оставалось только спокойно покуривать за пулеметом, дожидаясь, пока люди, обезумевшие от отчаяния,

---

[3] Примечания: 3

Я узнал, что на самом деле эти слова принадлежали другому лицу. Но я решил вложить их в уста гауляйтера Коха, в память об этом чиновнике.

сами ринутся в атаку, появившись именно в той точке линии прицела, где все было готово для их встречи. Этот план повсюду приносил прекрасные результаты, но в отношении поляков, отличавшихся чрезвычайно обостренным чувством мужской чести, он был, если можно так выразиться, безошибочным.

Вилла графов Пулацких была построена в конце XIX века одним французским архитектором и, очевидно, вдохновлена Трианоном...[4] Это был летний дворец — «загородный домик», как говаривали в ту эпоху — с гостиными, театром, фресками и деревянными панелями. Во время боев 1939 года он почти не пострадал, но запустение и расхищение сделали свое дело. Почти все окна были выбиты, и некоторые «пансионерки» пытались вскрыть себе вены осколками стекол; пришлось даже поставить охрану во внутренних помещениях. Там царили холод и сырость, притуплявшие чувства пленниц и делавшие их менее восприимчивыми к испытаниям. Два дня

[4] Примечания: 4

Трианон — название двух дворцов Версаля: Большой Трианон (арх. Мансар, построен при Людовике XV) и Малый Трианон (арх. Габриель, построен при Людовике XV). — *Прим. пер.*

спустя после начала операции «Волк из леса»[5] — под таким обозначением она фигурировала в оперативных шифровках дивизии — семьям удалось подкупить охрану и передать молодым женщинам теплую одежду и одеяла.

Вокруг «загородного домика» простирался французский парк, вплотную примыкавший к лесу. На цементном дне искусственных прудов, откуда торчали ржавые трубы, гнили ветки и палая листва; аллеи окаймляли Купидоны, Венеры и полный набор мраморных статуй образца 1900 года. Солдаты денно и нощно стояли на часах в изысканных беседках, куда гости графов Пулацких некогда приходили флиртовать, мечтать под луной, любоваться фейерверками или рассеянно смотреть спектакли в Зеленом театре, в котором сейчас размещалось пулеметное гнездо.

Эсэсовцы принесли во дворец печь, но угля все время не хватало для обогрева огромных комнат; немного теплее было только в большой бальной зале, богато украшенной золотисто-голубыми панелями, с потолком, покрытым ангелочками

---

[5] Примечания: 5

«Не только голод, но и любовь может заставить волка выйти из леса». Гауляйтер Кох.

и богинями, написанными в манере Тьеполо.[6] Женщины находились здесь, и солдаты приходили сюда их выбирать. За первые двое суток здесь побывало около трехсот солдат.

На рассвете второго дня отряд из двенадцати партизан вышел из леса и двинулся через парк цепью, стреляя на ходу; врагу никакого урона не нанесли, но их обстреляли из пулеметов, они потеряли шесть человек и отступили.

Только после этого случая эсэсовцы, довольные тем, чем операция «Волк из леса» в очередной раз удалась, установили в бальной зале печь и привезли полевую кухню, чтобы кормить «пансионерок» горячей пищей.

Белокурая девушка, которой было не больше шестнадцати, постоянно переходила от одной женщины к другой с сигаретой в зубах и пыталась утешить тех, кто еще не смирился со своей судьбой и не сумел приспособиться к обстоятельствам. У малышки было худое, бледное лицо, усеянное веснушками и довольно красивое, несмотря на толстый слой помады на губах и густо напудренные щеки. Никто никогда не видел ее в Сухарках; она говорила, что солдаты подо-

[6] Примечания: 6

Джованни-Батиста Тьеполо (1696–1770) — итальянский живописец венецианской школы. — *Прим. пер.*

брали ее в Вильно; ее родителей убили и, по ее собственным словам, она «ходила с солдатами» уже год. Девушка носила берет и военную шинель, которая была ей велика; черные шерстяные чулки, державшиеся на резинках, поминутно сползали и скатывались на лодыжки; тогда она подтягивала их, не наклоняясь и по-детски подгибая ногу.

Когда у одной женщины началась истерика и она принялась вопить, девушка бросилась к ней, взяла ее за руку и стала умолять:

— Успокойтесь, прошу вас, это не так серьезно, как кажется. Это пустяки. Если вы не будете об этом думать, вам от этого ничего не будет. Плохо становится, когда начинаешь задумываться.

С особой любовью и теплотой она подходила к красивой молодой женщине тридцати с лишним лет с седеющими волосами и большими черными глазами, смотревшими в одну точку, как у сумасшедших, — то была жена сухарковского врача, доктора Твардовского. Девочка часто становилась рядом с ней на колени, брала ее за руку, гладила по волосам и говорила:

— Послушайте, не надо об этом думать. Не станут же они держать нас здесь все время. Скоро они нас выпустят. Все будет хорошо, вот увидите.

Мебели на вилле не было. Женщины спали на соломенных матрасах, брошенных на пол. На стенах осталось висеть несколько фамильных портретов графов Пулацких, разорванных или пробитых шальными пулями: придворные, одетые в синий шелк, вся грудь в орденах, очень важные, в белых париках, и дамы, увешанные драгоценностями или с кудрявыми собачонками на коленях.

Когда белокурую девушку, которую звали Зося, выбирал какой-нибудь солдат, она старательно тушила сигарету, клала ее на подоконник и поднималась с солдатом наверх. А когда возвращалась, брала свою сигарету и снова закуривала. Она делала вид, будто ее больше беспокоит сигарета, чем то, что произошло с ней самой. Она пыталась даже делать вид, будто с ней ничего не произошло, будто на самом деле все это не имело большого значения.

Если же она замечала среди посетителей офицера, то немедленно подбегала к нему и хнычущим, визгливым голоском начинала осыпать его упреками, требуя угля, больше еды, кипятка, сигарет, мыла. Она цеплялась к нему, как репей, и почти всегда добивалась, чего хотела. После этого мгновенно успокаивалась, удовлетворенно улыбалась

и сообщала приятную новость подругам.

— С немцами все очень просто. Если хочешь чего-то от них добиться или обратить на себя их внимание, нужно сказать: «*Schmutzig, schmutzig*» — это значит «грязно». Грязи они не выносят. С помощью этого словца вы добьетесь от них чего угодно.

В парке напротив леса эсэсовцы поставили три бронемашины, а сами встали за орудиями и терпеливо дожидались, иногда спускаясь погреться у жаровен. Отряды партизан несколько раз выходили из чащи и завязывали бой. Почти все они погибали при короткой перестрелке. Но шли снова и снова, часто по трое или четверо, в основном — мужья, отцы или женихи.

На четвертый день у главного входа на виллу появился человек высокого роста, одетый в пальто хорошего покроя, в фетровой шляпе и с теплым платком на шее, в пенсне и с медицинской сумкой в руке, предъявил постовым документы, которые, видимо, оказались в порядке, и получил разрешение войти в парк. Он проследовал по аллее, медленно поднялся по ступеням дворца, раскрыл сумку, вытащил из нее автомат и почти в упор расстрелял солдат, веселившихся на террасе в ожидании своей очереди. Белокурая

девушка, которая с удовольствием наблюдала за этой сценой через окно, попивая обжигающий чай из солдатского котелка, рассказала потом остальным, что перед тем, как упасть, он здорово потрудился. То был сухарковский врач, человек известный и уважаемый — доктор Твардовский.

4

Янек терпеливо ждал несколько дней. Время от времени он выходил из землянки и прислушивался: среди множества лесных звуков пытался различить отцовские шаги. С каждым хрустом ветки и шорохом листвы воскресала надежда. Восемь дней он жил этой надеждой и ожиданием. Восемь дней яростно боролся с растущим страхом, с одиночеством и тишиной — с уверенностью мало-помалу овладевшей его душой, и с отчаянием, начинавшим леденить ему сердце. На девятый день Янек проснулся побежденным. Открыл глаза и беззвучно расплакался. Он даже не встал. Весь день он пролежал на матрасе, свернувшись калачиком под одеялами, сжав кулаки и дрожа. А в полночь вышел из норы и зашагал в сторону Сухарок. Он шагал через лес, в темноте. Ветви пихт хлестали его по лицу, иголки разрывали одежду и царапали кожу. Пару раз он заблудился. Так он блуждал всю ночь, а на рассвете вышел на дорогу. Он узнал ее. Это была дорога на Вильно. Он пошел по ней в Сухарки… Деревню окутывал густой туман. Но этот туман колол глаза, как в

землянке, когда печка плохо вытягивала. Это был дым. Часть деревни сгорела. Пламени больше не было, один только дым, тяжелый и неподвижный дым в застывшем воздухе, и скверный запах, дравший горло. Немного поодаль на дороге стояло две бронемашины. Они были неподвижны и похожи на брошенные панцири. Только впереди у каждой машины медленно, как копья, шевелились пулеметы. Одно из этих копий повернулось к Янеку и нацелилось ему в грудь. Внезапно панцирь раскрылся, из отверстия до пояса вылез белобрысый немецкий солдат, розовощекий, как девчонка, и закричал на плохом польском:

— *Poszedl, poszedl. Wzbronione, verboten!*[7]

Янек повернулся к нему спиной. Сначала он шел шагом, потом пустился бежать. Но он не убегал: ему хотелось поскорее возвратиться. Он хотел вернуться под землю, забиться в свою нору и больше никогда оттуда не выходить. Он спустился в землянку и лег на свое ложе. Он не чувствовал усталости. И не боялся. Ему не хотелось ни пить, ни спать, ни есть. Он не чувствовал ничего и ни о чем не думал. Просто лежал на спине, с отсутствующим взглядом, в холоде, в

---

[7] Примечания: 7
Уйди! Запрещено! *(польск., нем.)*

темноте. Только к середине ночи он подумал о том, что умрет. Он не знал, как люди умирают. Вероятно, человек умирает, когда он к этому готов, а он был готов, потому что был очень несчастен. Или, может, человек умирает, когда ему больше ничего другого не остается? Это путь, который избирает человек, когда ему больше некуда идти… Но он не умер. Его сердце по-прежнему билось. Умереть оказалось ничуть не проще, чем жить.

5

На следующий день Янек взял револьвер, пару картофелин, соль и большой том «Виннету — краснокожего джентльмена» и вышел из норы. Он отправился на поиски партизан, как велел ему отец. Он не знал, куда идти. И очень смутно представлял себе, кто такие «партизаны». Как он их узнает? Носят ли они форму? Как с ними заговорить? Где их искать? Он бродил по лесу наугад, а вечером вернулся в свою нору. Несколько дней он не встречал никого. Но однажды утром, когда он шел через поляну, из кустов выскочили два человека и встали по обе стороны от него. Он остановился. Но не испугался. У этих двоих был жалкий вид, они были не опасны. У младшего голова была обмотана платком, как у крестьянки. Он без конца нервно мигал одним глазом. У старшего были огромные седые усы. Он казался более злобным, чем первый. Подойдя к Янеку, он обыскал его. И сразу же нашел револьвер.

— Откуда он у тебя?

Сначала Янек не понял вопроса. Необходимо было сделать над собой усилие. Это был не поль-

ский. И не русский. Янек ума не мог приложить, что это за язык.

— Он спрашивает тебя… — начал младший.

— Дай мне его допросить! — рявкнул старший.

— Он не понимает по-украински.

— Я говорю по-польски! — сердито сказал старик.

Он повернулся к Янеку.

— Откуда он у тебя?

— Отец дал.

— Где твой отец?

— Не знаю.

— Ты слышал, Черв? — обрадовался старик. — Он не знает, где его отец!

— Слышал. Не глухой.

— А может, он знает, а? Может, он просто не хочет нам сказать, а?

— Оставьте его в покое, Савелий Львович, — с досадой возразил его товарищ. — Я его знаю. Это сын доктора Твардовского, из Сухарок. Его отец меня лечил.

— Сухарки, да? — повторил старик. — Сухарки…

Он искоса глянул на Янека.

— Хорошо, тогда я расскажу тебе, что случилось с твоим отцом…

— А что с ним случилось?

— Заткните глотку, Савелий Львович! — неожиданно крикнул его товарищ. — Прошу вас, заткните свою грязную глотку!

— А? — удивился старик. — Но я же ничего не сказал!

Он схватил толстую книгу и посмотрел название.

— Вин-не-ту, — с трудом прочитал он по складам. — Крас-но-ко-жий джен-тль-мен… А?

Он с шумом захлопнул том и посмотрел на Янека. А потом с отчаянием выругался:

— *Kurwa ich mac! Kurwa ich mac!*

— Не ругайтесь так, Савелий Львович. Я же говорил вам: это некрасиво, в вашем-то возрасте.

— Что случилось с моим отцом? — повторил Янек.

— А? — переспросил старик. — Я не знаю, что с ним случилось. Холера его знает. — И чуть не расплакался: — Виннету, краснокожий джентльмен… Ишь ты!

— Не нервничайте, Савелий Львович.

— А я и не нервничаю. Я никогда не нервничаю! — Он вернул книгу Янеку. — Что ты делаешь в лесу, бледнолицый?

— Живу.

— А?

— Живу.

— Ты слышишь, Черв? Он тут живет!

— Я ищу партизан, — робко сказал Янек.

— Чего? — Старик аж подпрыгнул. — Чертов… Ты слыхал, Черв? Он ищет партизан!

— Слышал.

— Каких партизан? — с интересом спросил старик.

— Не знаю.

— Он не знает! — ликовал старик. — Ты слышал, Черв, он не…

— Прошу вас, заткните пасть, Савелий Львович. — Он серьезно посмотрел на Янека. — Можешь пойти с нами, — сказал он.

— Кто здесь отдает приказания? — возмутился старик.

— Никто. Здесь никто не отдает приказаний. Я знал его отца, и он может пойти с нами. Вот и все.

— А я когда-нибудь говорил, что он не может пойти с нами? Значит, у меня нет сердца. У меня есть только луженая глотка, да?

— Так точно, у вас луженая глотка, Савелий Львович.

— Сам знаю, — с гордостью сказал старик. — Ты

можешь пойти с нами, бледнолицый! Добро пожаловать в наш иглу...

— Вигвам, — пробормотал Янек.

— А?

— У краснокожих вигвамы. Иглу — это у эскимосов.

— Холера их знает, что у кого! — проворчал старик.

Он повернулся к ним спиной и быстро зашагал. Они пошли следом.

— Как его зовут? — спросил Янек.

— Крыленко. Он украинец. Орет много, но человек хороший.

— Я вижу, — сказал Янек.

6

В глубине леса жили изголодавшиеся, обессилевшие люди. В городе их называли «партизанами», а в деревне — «зелеными». Уже давно эти люди боролись только с голодом, холодом и отчаянием. Заботились лишь о том, чтобы выжить. Отрядами по шесть-семь человек они ютились в убежищах, вырытых в земле и замаскированных ветками, как загнанные звери. Добывать съестные припасы было трудно, практически невозможно. Питаться удавалось только «зеленым», у которых в округе были родственники или друзья: остальные умирали от голода или же выходили из леса на добровольную смерть. Отряд Черва и Крыленко был одним из самых живучих и несгибаемых. Им командовал молодой офицер кавалерии лейтенант Яблонский. Это был высокий белокурый парень, который сильно кашлял и харкал кровью: во время польской кампании его ранило осколком снаряда в легкое. С тех пор он сохранил свою воинскую шинель и четырехугольное кавалерийское кепи; широкий козырек всегда отбрасывал тень на его лицо. Когда к нему

привели Янека, он спросил:

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

Лейтенант посмотрел на него долгим взглядом запавших, горящих, измученных лихорадкой глаз.

— Хочешь сделать что-нибудь для меня?

— Да.

— Ты знаешь Вильно?

— Да.

— Хорошо?

— Да.

Лейтенант помедлил, словно борясь с собой, оглянулся вокруг…

— Пошли в лес.

Он повел Янека в чащу.

— Возьми это письмо. Отнеси его. Адрес на конверте. Ты умеешь читать?

— Да.

— Хорошо. Только не попадись.

— Нет.

— Дождись ответа.

— Хорошо.

Вдруг лейтенант посмотрел на него искоса и сказал глухим голосом:

— Никому об этом не говори.

— Не скажу.

Янек положил письмо в карман и тотчас отправился в путь. Он прибыл в Вильно с наступлением темноты. На улицах было полно немецких солдат, по разбитым мостовым с грохотом проезжали грузовики, забрызгивая грязью деревянные тротуары. Он без труда нашел этот дом в Погулянке. Пересек двор и поднялся по лестнице. На втором этаже он остановился и чиркнул спичкой. На двери висела визитная карточка: «Ядвига Малиновска. Уроки музыки». За дверью играли на рояле. Он какое-то время послушал. Он очень любил музыку, но слишком мало ее слышал. Наконец он постучал. Музыка резко оборвалась, и женский голос спросил:

— Кто там?

Он замялся.

— Янек, — ответил он бестолково.

К его удивлению, дверь открылась. Молодая женщина внимательно посмотрела на него. В руке она держала лампу: желтый абажур был разрисован рисовыми полями, пагодами и птицами. Их тени шевелились на потолке и на стенах. Женщина показалась Янеку очень красивой. Он вежливо снял фуражку.

— Вот, просили вам передать, — сказал он.

Он протянул письмо. Она взяла его и тут же вскрыла. Пока она читала, Янек смотрел на нее. Как же она была красива! Неудивительно, что она так хорошо играет на рояле… Эта музыка ей очень шла, женщина была похожа на нее. Она закончила читать.

— Входи, — сказала она и закрыла дверь. — Ты, наверное, проголодался с дороги.

— Нет.

— А чаю не хочешь?

— Нет, спасибо.

Она посмотрела в очень серьезное лицо ребенка.

— Как хочешь. Я напишу ответ… Нет. Лучше не надо. Если тебя задержат…

— Меня не задержат.

Она снова посмотрела на него.

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

— Скажи ему… Скажи ему, что это безумие. Скажи, чтобы не приходил… Здесь очень опасно. Но если он придет, скажи ему, что я буду ждать…

— Он придет, — сказал Янек.

— Все равно скажи ему, чтобы не приходил.

— Я скажу.

Она ушла на кухню и вернулась с хлебом и

солью, завернутыми в газету. Он положил пакет за пазуху. Он не уходил. Он смотрел на нее… Она ждала, что он ей скажет.

— Сыграйте, — неожиданно попросил он.

Женщина ничего не сказала и подошла к роялю. Казалось, просьба не вызвала у нее ни удивления, ни любопытства. Она села к роялю и начала играть… Янек не знал, сколько времени она играла. Никогда еще он не чувствовал ничего подобного. В какой-то момент она обернулась.

— Это Шопен, — сказала она. — Он был поляком.

И она увидела, что он плачет. Видимо, и это не удивило и не взволновало ее. Казалось, вполне естественно, что он плачет, слушая эту музыку… Когда же она кончила играть, то поняла, что мальчик уже ушел.

7

Он нашел Яблонского и Крыленко у костра. Старый украинец читал, водрузив на нос очки. В нескольких шагах от них в землянке кряхтели люди, один стонал.

— Обеих! — вздыхал он. — Обеих!

Янек вздрогнул.

— Это Станчик бредит, — сказал лейтенант. — Не обращай внимания… — Он встал, взял Янека за руку и отошел от костра. — Ну как?

— Она просит вас не приходить. Она будет ждать…

— Спасибо, малыш, — сказал Яблонский. Он подошел к украинцу. — Дай ему поесть.

Крыленко снял очки и выронил книгу. Янек узнал толстый красный том: это был его «Виннету — краснокожий джентльмен».

— *Уф!* — произнес старик. — Здорово, бледнолицый. Вот тебе трубка мира, а что касается жратвы… *«Уф!»* — я сказал.

— Отдай мою долю, — сказал Яблонский. — Я не голоден.

Старик налил Янеку в котелок желтоватой

жидкости и снова взялся за книгу.

— Немцы не изобрели ничего нового, — прокомментировал он. — Метод взятия заложниц был известен еще индейцам сиу и широко ими применялся… — Он посмотрел, как лейтенант отошел, кашляя, а затем сплюнул. — Она его в могилу сведет, — пробурчал он.

На следующий день Янек познакомился с остальными членами отряда. Их было семеро. Среди них был Станчик, парикмахер из Вильно. Обеих его дочерей — одной семнадцать, другой пятнадцать лет — изнасиловали немецкие солдаты. Чтобы замять это дело, оккупационные власти отправили их «работать» в войсковой бордель в Померанию. Станчик получил краткое уведомление: «Ваши дочери уехали работать в Германию».

Время от времени маленький парикмахер, тщедушный безобидный человечек, впадал в безумие. Тогда он начинал блуждать по лесу, выкрикивая: «Обеих! Обеих!» А потом исчезал. Никто не знал, куда он ходит. Но однажды Черв обнаружил среди вещей бедняги ужасные трофеи. Он побелел, выскочил из землянки и принялся блевать… Поговаривали, что Станчик изувечил таким образом около десятка немецких

солдат. Его не одобряли, но и не порицали. Всякий раз, когда в лесу раздавался жалобный крик: «Обеих! Обеих!», люди бледнели, сплевывали, говорили: *«Tfou, sila nieczysta*!»[8] и прятали глаза… и прятали глаза…

Было также два студента-юриста из университета Вильно. Их трудная и опасная задача состояла в поддержании радиосвязи с командным пунктом армии «зеленых», который непрерывно перемещался. В их присутствии у партизан всегда портилось настроение, поскольку немцы всегда перехватывали их сообщения и за последние несколько месяцев в совершенстве овладели искусством обнаружения радиопередатчиков с помощью новейших технических средств. Прибытие этих двух молодых людей означало повышенную опасность; как только они появлялись, словно птицы, предвещающие беду, лица людей мрачнели; в одном месте их обычно терпели не дольше нескольких часов. У них в сумке лежала маленькая тетрадка, которая служила им тайным шифром; ее страницы были исписаны фразами, казалось бы, лишенными всякого смысла, и одна особенно поразила Янека,

---

[8] Примечания: 8
Сгинь, нечистая сила! *(польск.)*

когда он сидел на корточках в землянке Червa, как раз ждавшего передачи. Фраза гласила: *«Завтра будет петь Надежда»*.

— Что здесь подразумевается? — спросил Янек.

— Только то, что сказано, — ответил Черв.

Янек рассердился. Его принимали за ребенка, ему не доверяли.

— Наверное, это шифр, — сказал он. — Эта фраза, наверно, имеет какой-то тайный смысл.

Черв чуть было не улыбнулся. Но он никогда не улыбался. На несколько секунд его лицо словно бы потемнело — и только.

— Здесь нет никакой тайны, — сказал он. — Все говорится открытым текстом. *Завтра будет петь Надежда.* Надежда — прозвище нашего главнокомандующего, а у него очень красивый голос. Он все время поет. Скоро ты сам его услышишь. Он часто дает концерты в нашем лесу.

Янек нередко слышал рассказы о подвигах этого таинственного партизана, который называл себя «Партизаном Надеждой». Никто не знал, кто он такой; никто никогда его не видел; но всякий раз, когда взрывался мост, совершалась диверсия на железной дороге или нападение на немецкую колонну и просто если их ушей достигало эхо дальнего взрыва, «зеленые» переглядывались, по-

качивали головами, улыбались с понимающим видом и говорили: «Партизан Надежда снова принялся за старое».

Немцы знали о его существовании; крупное вознаграждение было обещано тому, кто поможет им взять этого неуловимого «бандита». Он стал подлинным наваждением для местной *Kommandatur*,[9] потратившей уйму времени и сил на то, чтобы поймать этого неуловимого врага, но так и не сумевшей установить его личность.

Янек часто лежал на спине в своей землянке, не смыкая глаз в безмолвной ночи, и думал о Партизане Надежде, пытаясь его себе представить. Действительно, как-то обнадеживала одна мысль об этом таинственном присутствии в лесу, рассказы о его подвигах и спокойные улыбки партизан, говоривших об этом легендарном герое, который досаждал немцам и вечно выходил сухим из воды. Часто, если дела шли худо, когда убивали или брали в плен товарищей и подвергали их пыткам, кто-нибудь из «зеленых» вздыхал, качал головой и спрашивал: «Куда смотрит Надежда? Что-то давно о нем не слышно».

---

[9] Примечания: 9
Комендатуры *(нем.)*.

Однажды ночью в землянке, когда Янек мечтал об этом, одна догадка, мало-помалу ставшая уверенностью, внезапно настолько поразила его своей очевидностью, что он приподнялся на матрасе с улыбкой на губах и с бьющимся сердцем: таинственным Партизаном Надеждой не мог быть никто, кроме его отца. Вот почему когда он говорил об отце и пытался разузнать о его судьбе, «зеленые» умолкали и так странно смотрели на него, с явной симпатией и даже с уважением. Эта надежда, о которой он никогда никому не говорил, поселилась в нем давно. Он был уверен в своей правоте, а когда закрадывались сомнения, знал, что это лишь потому, что ему холодно, что он голоден или устал. Он уже понял, что истина познается не холодным рассудком, а через пылкие душевные порывы.

В отряде был Цукер, еврей-мясник из Свечан. Это был набожный хасид, сложенный, как ярмарочный борец. В пятницу вечером он вместе с другими евреями, прятавшимися в лесу, ходил молиться на развалины старого порохового склада в Антоколе. Каждый вечер он накидывал на голову черно-белый шелковый *талес*,[10] бил себя

[10] Примечания: 10
Молитвенный платок в иудейском обряде.

в грудь и плакал. Остальные молча и с уважением смотрели на него. Был еще «пан меценат»,[11] адвокат из Вильно. Партизаны называли его *«panie mecenasie»;* никто не обращался к нему на «ты». Это был пожилой, упитанный человек с лицом печального Пьеро, который никак не мог привыкнуть к жизни в лесу. Его фамилия была Стахевич. Однажды, когда он жаловался на холод и голод, Янек услышал, как Яблонский сказал ему:

— Хватит ныть. Вас никто здесь не держит.

Пан меценат печально покачал головой:

— Вы не знаете, Яблонский, что значит любить женщину, которая моложе вас на тридцать лет…

Позже Янек узнал, что пан меценат был женат на очень молодой женщине, брат которой будто бы ушел к партизанам и был убит. «Никто здесь об этом не помнит, но нельзя же знать всех, живущих в лесу…» Пан меценат ушел в подполье, чтобы отомстить за юношу. Когда Янек смотрел на дрожащего беднягу в разорванной шубе, ему часто хотелось сказать: «Перестаньте же вы, будьте мужчиной».

В отряде был еще Махорка, православный кре-

---

[11] Примечания: 11
«Мэтр», т. е. адвокат.

стьянин-грек из Барановичей. Он сравнивал лес с катакомбами, а партизан — с ранними христианами. Он ждал Воскресения. «Час близок!» — говаривал он. И жил его ожиданием. Всякий раз, когда в округе рожала какая-нибудь крестьянка, он бродил вокруг хутора и бормотал молитвы. Потом возвращался, весь сгорбленный, печально покачивал головой и говорил:

— Знака не было.

Никто не знал, какого именно «знака» он ждал; наверное, он и сам этого не знал. Но никогда не отчаивался. Он очень ловко воровал тех немногих цыплят, которых все еще держали в курятниках окрестные селяне… Однажды он спросил у Янека:

— Ты веруешь в Бога?

— Нет.

— Стало быть, у тебя нет матери? — сказал Махорка.

И наконец, было трое братьев Зборовских — молчаливых, решительных, подозрительных. Они никогда не расставались, ели, спали и сражались вместе. Прежде всего они поддерживали связь отряда с внешним миром. Их родители владели хутором в соседней деревне Пяски. Иногда по ночам трое братьев исчезали и уходили к

родителям… А возвращались еще более молчаливыми, решительными и подозрительными.

8

Яблонский часто посылал Янека в Вильно договариваться о свидании со своей любовницей. Янек ходил охотно. Когда бы он ни пришел, панна Ядвига давала ему поесть и играла на рояле. На столе стыл чай, а Янек сидел неподвижно, накрыв рукой ломоть хлеба, к которому даже не притрагивался. Женщина никогда ничего не говорила ему. Она играла. Иногда, обернувшись, она замечала, что Янек уже ушел. Порой, наоборот, он еще долго сидел после того, как она заканчивала, застывший, с затуманенным взором… Яблонский все чаще и чаще приходил к своей любовнице. Его здоровье ухудшалось. Впалые щеки пылали болезненным румянцем, а по ночам в землянке его кашель мешал спать остальным. Он знал, что обречен, и спокойно рассуждал о выборе своего преемника.

— Черв, — говорил он, — ты займешь мое место.

Черв нервно мигал глазом.

— Посмотрим.

Однажды вечером Яблонский ушел на сви-

дание с панной Ядвигой и не вернулся. Его с тревогой ждали весь день. На следующее утро Черв отвел Янека в сторону и спросил:

— Ты знаешь дом?

— Да.

— Сходи.

Янек пришел в Вильно в полдень. Шел дождь. Перед домом панны Ядвиги стояли две виселицы: мимо них быстро, не оборачиваясь, проходили люди; некоторые крестились. На веревках висели Яблонский и его любовница. На посту стояли два солдата: они что-то обсуждали и смеялись, один вынул из кармана конверт и показал другому фотографии.

9

Когда наступили октябрьские холода и дожди, положение маленького отряда стало критическим. Крестьяне, истребляемые немцами, отказывались помогать. К тому же некоторые «зеленые», напуганные приближением зимы, нападали на хутора и грабили их… Трое братьев Зборовских поймали виновных и недолго думая повесили их во дворе одного из разграбленных хуторов, но крестьяне все равно относились к партизанам с подозрением. С большим трудом братья Зборовские раздобыли несколько мешков картошки… Но произошло одно событие, которое позволило им встретить зиму с уверенностью. Однажды утром в отряд Черва прибыла делегация пясковских крестьян. В лес въехала телега, запряженная могучей лошадью: позади кучера разместилось шестеро мужиков. Они были одеты в праздничные одежды, их сапоги и волосы блестели, а усы стояли торчком и были тщательно намазаны жиром. У них был важный и даже торжественный вид: сразу же становилось ясно, что важные люди приехали обсудить важные дела.

Во главе делегации стоял пан[12] Йозеф Конечный. У пана Йозефа Конечного в Пясках был *szynek*,[13] которым он сам и заведовал: кроме того, он владел *szynk'ами* почти во всех окрестных деревнях. Эти *szynki* представляли собой задымленные, темные погребки, убого снабженные табуретками, шаткими столами и грязной прислугой, куда крестьяне приходили выпивать в базарные дни, а при случае занимали денег под проценты или под залог. Дела у пана Йозефа шли отлично. Он был крестьянин средних лет, с простодушным лицом, большими, слегка навыкате глазами и *czub'ом*,[14] красиво закрученным на лбу. С телеги он слез последним. Спутники ждали его с уважением, сняв картузы и время от времени сплевывая для важности.

— Все они должны ему денег, — объяснил Янеку самый младший из Зборовских.

Пан Йозеф вышел вперед и посмотрел в глаза каждому партизану долгим, пронизывающим взглядом.

---

[12] Примечания: 12
Господин *(польск.).*

[13] Примечания: 13
Кабачок *(польск.).*

[14] Примечания: 14
Завитком, прядью *(польск.).*

— Что ж это получается, ребята? — воскликнул он. — У вас что, пороху не хватает? Или вы спите? Уже три года немец сидит в наших деревнях, а вы палец о палец не ударите, чтобы его выгнать! Так кто же должен защищать наших жен и наших детей?

— Он дело говорит, — заметил один из крестьян, удовлетворенно сплюнув.

— Кто должен защищать наших невест и наших матерей? — добавил кабатчик.

Кучер со скучающим видом поигрывал на сиденье кнутом. Он не был должен пану Йозефу; по правде говоря, сам кабатчик взял у него денег под залог на один месяц. Он смотрел в спину пану Йозефу и щелкал кнутом.

— Если бы я был помоложе, — продолжал кабатчик, — если бы мне скинуть годков этак двадцать… я бы сам показал вам, как надо защищать свою землю! — Он вытянул перед собой руки. — Вперед, ребята! Отомстите за наших поруганных дочерей, за наших убитых и взятых в плен сыновей! — Голос его дрогнул. Он вытер слезы кулаком и сказал: — Мы привезли вам продуктов.

— Гм… — произнес Черв, мигнув глазом. — В последнее время на фронте хорошие новости… Гм?

Пан Йозеф посмотрел на него исподлобья.

— Хорошие, — печально согласился он. — Под Сталинградом русские вроде бы пока держатся…

— Возможно, скоро перейдут в наступление… Гм?

— Возможно, — уступил кабатчик.

В порыве отчаяния один из крестьян признался:

— Кто его знает, как дело обернется, *psia krew!*

Пан Йозеф сразил его взглядом.

— Возможно, — продолжал Черв, — когда-нибудь они дойдут сюда? Гм?

— Вполне возможно, — сказал кабатчик.

— А когда они выгонят немцев…

— Мы этого ждем не дождемся, — быстро вставил пан Йозеф.

— А когда они выгонят немцев, нам, возможно, разрешат повесить всех предателей, спекулянтов и прочую нечисть… Гм?

— Если вам что-то нужно, вы только дайте знак, — как ни в чем не бывало сказал пан Йозеф.

— О чем речь… — забубнили крестьяне.

Черв приказал разгрузить телегу. Пан Йозеф постарался: продуктов отряду должно было хватить, по крайней мере, на месяц… Делегация

влезла на телегу, кучер крикнул: *«Wio! Wio!»*, и кортеж тронулся. Мужики не разговаривали. Они старались даже не смотреть друг на друга. Пан Йозеф насупился. Этот Черв не сказал ему ничего путного. Двуличный человек, лицемер. На него нельзя ни положиться, ни разгадать его тайные мысли. «Такие люди, — угрюмо думал пан Йозеф, — сегодня жмут тебе руку, смотрят тебе в глаза, а завтра подсылают партизана, чтобы тот убил тебя из-за угла». Он вздрогнул. Жить все труднее. Никто не платит долги, любое дело опасно начинать, сегодняшний победитель завтра может стать побежденным. Он не знал, какому святому верить. Но многим поколениям его предков удавалось спасать свою шкуру и свои трактиры, невзирая ни на кого — татар ли, шведов, русских ли, немцев. С ними всегда обращались как с гостями, а не завоевателями. «Добро пожаловать всем в наш трактир!» — таков был их девиз. Все дело в хладнокровии, чутье и быстрой перемене взглядов в нужный момент… Пан Йозеф вздохнул. В своих сообщениях немцы утверждали, что якобы заняли пригороды Сталинграда: это означало, что город все еще держался. Предвидеть будущее становилось все труднее… Остальные ездоки не думали ни о чем.

У них не было своего мнения: у них были долги. Они безропотно сопровождали пана Йозефа.

10

Так телега добралась до деревни.

— Объезжай! — приказал пан Йозеф кучеру. — Не хочу, чтобы видели, что мы приехали из леса.

Они въехали в Пяски со стороны Вильно. Телега остановилась перед бывшей мэрией, на которой теперь красовался флаг со свастикой и надпись *«Kommandatur»* большими готическими буквами.

На лестнице их встретил молодой человек с редкими светлыми волосами и сутулой спиной. Он беспрерывно обнажал зубы в заискивающей улыбке. Это был поляк, согласившийся служить немецким властям осведомителем и с тех пор редко выходивший на улицу один после захода солнца. Он извивался всем телом, потирая руки.

— Заждались мы вас, пане Йозефе, заждались!

Он протянул руку. Пан Йозеф оглянулся вокруг, косясь по сторонам, и не подал ему руки. Он прошел вслед за белобрысым молодым человеком в переднюю. Там, вдали от нескромных взоров, он с жаром пожал ему руку.

— Извините меня, пане Ромуальдзе, за то, что

не подал вам при всех руки…

— Не стоит, пане Йозефе, я прекрасно все понимаю!

— Поймите, даже теперь мы не одни…

Они стояли в передней, горячо пожимали руки и искренне смотрели друг другу в глаза.

— Понимаю, понимаю, — твердил пан Ромуальд, обнажив зубы.

Они продолжали жать руки и смотреть в глаза.

— Я ничего не имею против того, чтобы пожать вам руку, — уточнил пан Йозеф. — Напротив, я весьма польщен, весьма польщен…

— Мой дорогой друг! — сказал пан Ромуальд.

— Никто лучше меня не понимает всей деликатности вашего положения и благородства, мужества, которое требовалось вам для того, чтобы сыграть… согласиться играть…

Он немного запутался.

— Спасибо, большое спасибо! — поспешил ему на помощь пан Ромуальд.

— Я имел в виду, для того чтобы взвалить на свои плечи этот неблагодарный, но необходимый труд… — Он закашлялся. — Когда-нибудь мы узнаем, сколько жизней вам удалось спасти… Кто знает? Возможно, я обязан вам своей!

— Что вы, что вы, — скромно возразил молодой

человек. — Как поживает пани[15] Франя?

Кабатчик был женат на одной из самых красивых женщин в округе: он сильно ее ревновал.

— Прекрасно! — сухо ответил он. Затем повернулся к крестьянам. — Пане Витку, — приказал он, — ну-ка выгрузите тот мешок с продуктами, что мы привезли для пана Ромуальда…

— Вас ждет герр гауляйтер! — доложил молодой человек.

Делегация была представлена. Пан Йозеф приложил руку к сердцу и раскрыл рот…

— Знаю, знаю! — нетерпеливо оборвал его немецкий чиновник. — Все они говорят одно и то же… Это муж?

— *Jawohl…*[16]

— Что он привез?

— Яйца, сало и творог! — сказал пан Ромуальд, обнажив клыки.

---

[15] Примечания: 15
Госпожа *(польск.).*

[16] Примечания: 16
Так точно *(нем.).*

11

Янек сидел у костра — дождь перестал, и партизаны воспользовались этим, чтобы выйти из норы, — задумчиво наблюдая, как в костре шипят и дымятся сырые дрова. Младший Зборовский, усевшись по-турецки, играл на губной гармонике с большой охотой, но без особого умения.

— Ты играешь безобразно, — сказал Янек. — Просто ужасно!

Юный Зборовский обиделся.

— Это чертов отрывок, — возразил он. — Ты ничего не смыслишь. И слова красивые. Он пропел:

Tango Milonga

Tango mych marzen i snow…[17]

— И слова ужасные! — вздохнул Янек. — Ты можешь сыграть Шопена?

Юный Зборовский покачал головой:

— А кто это?

— Один поляк, — сказал Янек. — Композитор. — Он протянул руку. — Дай.

— Ты умеешь играть?

---

[17] Примечания: 17
Танго Милонги. Танго моих грез и снов… *(польск.)*

— Нет.

Он схватил гармонику и с отвращением зашвырнул ее в кусты. Юный Зборовский выругался, подобрал инструмент и снова начал дуть в него.

— Где твои братья?

— В Вильно.

Братья Зборовские вернулись поздно вечером. Они пришли не одни: привели с собой девочку. Лет пятнадцати. Лицо ее было усыпано веснушками; их было очень хорошо видно, хотя она густо напудрилась. Она носила военную шинель, которая была ей велика, и берет, едва прикрывавший белокурые, растрепанные волосы. Янек видел ее впервые.

— Кто это?

Младший Зборовский посмотрел на девочку.

— Смотри, чтоб не наградила тебя болячкой, — ухмыльнулся он.

— Какой болячкой?

— Болячка. Ну ты же знаешь.

— Ничего я не знаю, — сказал Янек.

Он внимательно посмотрел на девочку. Она была не похожа на больную. Наверное, малышка поняла, что говорят о ней. Она печально посмотрела на Янека большими карими глазами. Потом

она улыбнулась ему.

— Кто это? — тихо повторил Янек.

— Да это же Зоська! Ее все здесь знают. Она работает на нас в Вильно. Спит с солдатами, а они рассказывают ей, откуда прибыли, куда направляются и где будут проходить их колонны… Она заражает их болячкой. — Он крикнул: — Зоська!

Девочка подошла. Она по-прежнему смотрела на Янека и улыбалась. Шинель доходила ей до пят. Янек больше не смел на нее смотреть. Он задрожал. У него защемило под ложечкой. Ему стало стыдно самого себя, поднявшейся в нем теплой волны, внезапного желания обнять эту девочку и прижаться к ней. Младший Зборовский встал, обнял девочку за талию и потрогал ей грудь.

— У нее болячка! — сказал он с досадой. — А жаль. Ее никто здесь не трогает. Правда, Зоська, у тебя ведь болячка?

— Да, — равнодушно сказала девочка.

— От этого умирают, — убежденно заявил младший Зборовский. — Правда, Зоська, от этого умирают?

— Да.

Она не сводила глаз с Янека. Потом неожиданно наклонилась и коснулась его лица кончиками

пальцев.

— *Kocha, lubi, szanuje?...*[18]

— Оставь его, — сказал младший Зборовский. — Он не знает, что это такое. Он никогда не делал этого. Правда, Твардовский, ты никогда этого не делал?

— Чего? — спросил Янек.

— Вот видишь, — торжествующе сказал младший Зборовский. — Он не знает, что это такое!

— *Nie chce, nie dba, nie czuje*?[19] — закончила девочка.

Янек вскочил и убежал в лес. Он услышал, как младший Зборовский громко расхохотался... Мальчик шел некоторое время, а потом остановился за пихтой: девочка шла за ним. Янек хотел пошевелиться... а ноги ватные.

— Почему ты боишься меня?

— Я не боюсь.

Она взяла его за руку. Он отдернул ее.

— Ты милый. Не такой, как другие. Я люблю тебя...

— Но я ничего для этого не сделал.

— Ничего и не надо делать... Я люблю тебя. У

---

[18] Примечания: 18

Любишь немножко, сильно, страстно? *(польск.)*

[19] Примечания: 19

Немножко, сильно, страстно, совсем не любишь?... *(польск.)*

тебя нет родителей?

— Есть. Но я не знаю, где они.

— Моих убило бомбой три года назад. Мой отец был инженером. А чем занимался твой?

— Он был врачом.

Она снова взяла его за руку.

— Куда ты собрался?

— У меня есть своя землянка.

— Далеко?

— Нет.

— Можно, я пойду с тобой?

Он услышал свой голос, изменившийся до неузнаваемости, который вопреки его воле сказал:

— Да.

Они шли молча. Он думал об отце и о своем обещании никогда никому не показывать землянку… Наверное, она угадала его мысли и тихо сказала:

— Не бойся. Я никому не скажу.

— А я и не боюсь. Я ничего не боюсь.

Она улыбнулась:

— Дай мне тогда руку.

Он почувствовал ее маленькую руку в своей — холодную, худенькую. И непроизвольно сжал ее.

— Как тебя зовут?

— Ян Твардовский.

— Янек, — сказала она, — Янек… Красивое имя. Можно, я буду тебя так называть?

— Да.

Они пришли. Он отбросил ветки и помог ей спуститься. Она села на матрас и посмотрела вокруг.

— Хорошая землянка. Намного лучше, чем у Черва.

— Мы вырыли ее вместе с отцом.

Он сел рядом с ней. Она прижалась к нему и больше ничего не говорила. Они долго сидели и молчали… Потом она вздохнула, расстегнула пуговицу своей шинели и смиренно сказала:

— Ты хочешь?

— Нет, нет. Вот так, сразу…

Она снова прижалась к нему.

— Просто если ты хочешь, — прошептала она. — Мне все равно. Я привыкла.

— Я не хочу!

— Как хочешь. Я уже привыкла. Вначале было очень больно. Но сейчас я привыкла и ничего не чувствую.

12

На рассвете она осторожно разбудила его.

— Я ухожу.

— Останься.

— Нет, я обещала Черву. Мне нужно вернуться в город.

— Это обязательно?

— Черв думает, что немцы будут прочесывать лес.

— Ну и что?

— Мне нужно сходить к солдатам…

— Они ничего не скажут.

— Скажут. Люди всегда все рассказывают, нужно только уметь слушать.

Ее голос звучал смиренно и печально. В темноте Янек не видел ее лица.

— Ты вернешься?

— Да.

— Дорогу найдешь?

— Конечно. Не бойся…

Она обняла его и долго сидела, прижав лицо к его шее.

— Спи.

— Возвращайся скорее.

— Как только все закончу.

Она ушла. Он пытался уснуть, но всякий раз, закрывая глаза, слышал в темноте голос Зоси: «Как только все закончу…» Он оделся и вышел из землянки. Погода была прекрасная, по голубому небу быстро плыли облака, с ними хотелось играть. Сунув руки в карманы и насвистывая, он пошел в лес, не разбирая дороги. Он чувствовал себя как дома: лес больше не пугал его. Раньше за каждым деревом ему мерещился враг; а теперь, наоборот, Янека окружало множество друзей. Шорох веток дышал почти отеческой нежностью. Ему вспомнилась фраза, сказанная однажды старшим Зборовским: «Свобода — дитя лесов. Здесь она родилась и здесь же прячется, когда приходится худо».

Часто, бывало, опирался он рукой о твердую надежную кору дерева и смотрел на него с благодарностью. Он даже подружился с одним древним дубом — наверняка самым красивым и самым могучим во всем лесу, что раскидывал над Янеком свои ветки, словно оберегающие крылья. Старый дуб беспрестанно шептал и бормотал, и Янек пытался понять, что он хочет ему сказать; в минуты наивности, которых немного стыдился,

он ждал даже, что дуб заговорит с ним человеческим голосом. Он прекрасно знал, что это ребячество, недостойное партизана, но порой не мог удержаться и прижимался к старому дереву, и ждал, и слушал, и надеялся.

Однако Янек сознавал, что его отец мертв. Партизаны с явным смущением избегали этой темы, и он все понимал. Он не задавал им вопросов. «Зеленые» никогда не говорили о своих семьях, и он старался поступать так же. Об этом нельзя было думать. Он старался казаться бесстрастным, стойким и мужественным: старался быть мужчиной. Но это очень трудно. Возможно, он был еще слишком молод, или, возможно, просто пока еще никого не убил. Он по-прежнему внезапно вскакивал на матрасе, прислушивался к шуму шагов и неожиданно понимал, что его отец вернулся. Выбегал наружу, но там никого не было, только трещала ветка. Однажды братья Зборовские принесли ему весточку от матери: она жива, только немного болеет, о ней заботятся друзья, не стоит волноваться. Он часто думал о том, что сказал ему отец, когда они виделись в последний раз, и в голове крутилась фраза «ничто важное не умирает»; она слышалась ему даже в извечном шорохе леса. Учитывая, сколько людей ежеднев-

но погибало, фраза звучала довольно странно.

Янек пришел на развалины старой мельницы, в место под названием «Отдых рыцаря»; мельницу построили в эпоху литовских королей; теперь от нее почти ничего не осталось — полуразрушенные стены да поросшие мхом обломки колеса на дне давно высохшего ручья, утопающие в зарослях кустарника и шелковицы. Он собрался было пойти дальше, но вдруг услышал в кустах мужской голос. Янек остановился в изумлении: ясный молодой голос читал стихи.

Я жду в своей старинной келье
(Ах, сколько уже ждало до меня?),
Когда напишется последняя листовка,
Когда сорвут чеку с последней бомбы…

Янек сдержанно кашлянул; тотчас из кустов вышел высокий юноша и двинулся ему навстречу. Янек узнал этого молодого человека.

Его звали Добранский, Адам Добранский. Он был из отряда студентов университета Вильно, которые уже три года работали в подполье.

Еще в 1940 году они создали организацию сопротивления, и больше двух лет им удавалось тайно публиковать и распространять газету под названием «Свобода». В 1942 году подпольную

типографию обнаружили немцы; главу организации, великого поэта и историка Лентовича, и его дочь арестовали и расстреляли. Нескольким студентам, в том числе Добранскому, удалось бежать, и они присоединились к партизанам в лесу под Вилейкой. Их формирование отличалось большой самостоятельностью, и его сурово критиковали «зеленые», считавшие, что студенты склонны к неоправданному риску; их презрительно называли «романтиками».

Янек часто слышал, как Черв и Крыленко с раздражением говорят о них. Им ставили в упрек склонность к импровизациям и безусловно героические поступки, вдохновленные, однако, душевными порывами, а не разумом; подводя итог, Черв мрачно отзывался о них: «Идеалисты». Не раз несли они серьезные потери, которые более рассудительные партизаны считали бессмысленными. В частности, Янек слышал об одном трагическом эпизоде, который наглядно показывал «сентиментальный», по словам Черва, характер их действий. Случай этот произошел через несколько дней после того, как Янек присоединился к подпольщикам. В то время он об этом ничего не знал, но впоследствии часто слышал горькие намеки на «безрассудный поступок»

студентов. По всей видимости, эсэсовцы взяли в плен два десятка молодых женщин со всей округи, заперли их на вилле Пулацких, где обращались с ними как с проститутками и отдавали на поругание солдатам. Старый трюк, хорошо знакомый всем ветеранам и позволявший врагу убить, как говорится, сразу двух зайцев: удовлетворить физиологические потребности солдат и в то же время вынудить партизан выйти из леса и броситься на помощь своим женщинам. «Романтики» Добранского, разумеется, на эту удочку попались. При поддержке некоторых мужей, братьев и женихов несчастных они вышли из леса и совершили несколько атак на виллу Пулацких, ничего не добившись и потеряв две трети личного состава.

— Все это сантименты, — с возмущением заключал Черв. — Не так нужно бороться. Бороться нужно хладнокровно, хорошо рассчитав удар. Нужно выбирать подходящий момент, а не предаваться отчаянию и гибнуть геройской смертью. Лично я прихожу в бешенство от одной мысли об этих бедных девочках, не могу уснуть, лопаюсь от злости. Но погибнуть вот так — значит просто себя успокоить. Более того, доставить себе удовольствие. Но нам необходимо выстоять и

победить. Нужно выиграть войну, повесить всех мерзавцев и построить такое общество, где это больше никогда не повторится.

Однако Янека это не убеждало; он был не уверен в правоте Черва; и, видимо, Черву не удавалось убедить даже самого себя: после брюзжания и возражений, несмотря на все свои превосходные доводы, он сам принял участие в одной из атак на виллу Пулацких.

Янек видел этого студента впервые. Парень был с непокрытой головой. Под вьющимися иссиня-черными спутанными волосами — большой бледный лоб и мрачные, но в то же время веселые, горящие глаза, и во всем его лице светилась та особая веселость и вера, что придавала его бледности лихорадочный оттенок, а его улыбке — жадное нетерпение: его воодушевляла некая глубокая уверенность, словно бы он знал, что с ним ничего не может случиться. У него были узкие плечи, военная гимнастерка перетянута портупеей с прицепленным к ней «люгером». Он подошел к Янеку и протянул руку.

— Я становлюсь неосторожным, — сказал он, смеясь. — Читать стихи средь бела дня, в середине XX века — все равно что самому лезть под пули. Ты ведь с Червом, да? По-моему, я тебя с

ним видел.

— Да, я сражаюсь вместе с ними, — сказал Янек.

— Интересуешься поэзией?

— Я плохо в ней разбираюсь, — сознался Янек. — Но очень люблю музыку.

Он вздохнул. Молодой человек дружески посмотрел на него своими веселыми, горящими глазами.

— Ну что ж, тем лучше! Ты скажешь мне, что думаешь о моем стихотворении. Это экспромт, и у меня есть уникальная возможность узнать мнение человека, не отягощенного предвзятыми мнениями. Хочешь послушать?

Янек серьезно кивнул головой. Студент улыбнулся, вынул лист бумаги из кармана гимнастерки, развернул его и прочел:

Я жду в своей старинной келье
(Ах, сколько уже ждало до меня?),
Когда напишется последняя листовка,
Когда сорвут чеку с последней бомбы.
Я жду, когда последней жертвою падет
Тот, кто кричал: «Да здравствует свобода!»,

Когда развалится последняя монархия
Под натиском европейских патриотов.
Я жду, когда столицы всего мира
Провинциальными городами станут,
Когда умолкнет эхо наконец
Последнего государственного гимна.
Когда любимая, несчастная Европа
Поднимется с колен и двинется вперед…
Я жду в своей старинной келье.
Ах, сколько их, таких, как я, вот так же ждет?

Он умолк и иронически посмотрел на Янека:

— Ну как, что ты об этом думаешь? Не правда ли, великолепно?

— Я больше люблю музыку, — вежливо возразил Янек.

Молодой человек рассмеялся.

— Что ж, по крайней мере, откровенно. Я действительно не силен в поэзии. Но я прирожденный прозаик. Кстати, меня зовут Адам Добранский. А тебя?

— Ян Твардовский.

Молодой человек вдруг замер, и его лицо по-

мрачнело.

— Ты сын доктора Твардовского?

— Да.

Студент пристально посмотрел на него. Замялся, хотел было что-то сказать, но потом опять улыбнулся:

— Мне рассказывал о тебе старый бирюк Крыленко.

— Что же он сказал? — с недоверием спросил Янек.

— Он сказал мне: «Мы приняли одного краснокожего».

Янек улыбнулся, вспомнив Виннету… Как давно это было!

— Если ты вечером свободен, — предложил Добранский, — приходи в нашу нору. Мы читаем, обсуждаем новости… Ты слышал, Сталинград еще держится?

— А американцы?

— Скоро откроют второй фронт в Европе.

— Я в это не верю, — спокойно сказал Янек. — Не придут они сюда. Слишком далеко. Они даже не знают о нашем существовании, или им просто наплевать. Мой отец тоже говорил, что они скоро придут, а потом пропал без вести. Я не знаю, что с ним.

Добранский тут же сменил тему.

— Значит, решено, вечером приходишь. Если тебе повезет, у нас на ужин будет кролик. Невероятно, однако должен же быть в этом лесу хоть один кролик.

Они рассмеялись.

— Мы будем тебя ждать. Договорились?

— Договорились. А где это?

— Придешь сюда, тебя заберут. У нас всегда кто-нибудь стоит на часах.

— Я приду, — пообещал Янек.

13

Вечером он бросил в свой пустой мешок пару пригоршней картошки, закинул его на плечо и отправился в путь. Светила луна. Было холодно, но то был сухой, очищающий холод. На почти светлом небе выделялось черное кружево листвы, горели звезды; Большая Медведица играла с облаками. Янек добрался до пруда и пошел по тропинке. Он думал о Зосе. Размышлял о том, требует ли воинская дисциплина, чтобы он спрашивал у партизан разрешения жениться на ней. Вероятно, они посмеялись бы над ним и сказали, что он слишком молод. Похоже, он слишком молод для всего, помимо голода, холода и пуль.

— Сюда, — позвал чей-то голос.

Янек вздрогнул.

— Да, прекрасная ночь, — сказал Добранский, — можно помечтать.

— Я принес картошки, — сказал Янек, немного смутившись.

— Хвала небесам! — воскликнул студент. — Нам не повезло с этим злополучным кроликом. Вечно убегает. Я уж подумал, что придется до-

вольствоваться одной пищей духовной.

Они прошли сотню метров через кусты, затем Добранский сунул два пальца в рот и свистнул. Сквозь заросли просачивался свет: землянка была у них под носом. Они спустились.

Там было два десятка партизан, так тесно прижавшихся друг к другу, что при свете масляной лампы видны были только их лица. Некоторые Янек видел впервые, другие были ему знакомы: Пуцята, бывший чемпион по борьбе, а ныне командир партизанского отряда, активно действовавшего в районе Подбродзья; Галина, о котором говорили, будто он может смастерить бомбу из старого ботинка, — он был так начинен всевозможной взрывчаткой, что партизаны, ругаясь, тушили сигареты, когда он к ним подходил. Это был седоволосый, худощавый, мускулистый и проворный человек, ему уже давно стукнуло шестьдесят; на его губах навсегда застыла неуловимая усмешка; он жил один в своей землянке, проводя опыты над все более чувствительными и трудными для обнаружения взрывчатыми устройствами. Он всегда смеялся, когда при его приближении люди вставали и предусмотрительно уходили.

Также была там одна молодая женщина, одетая

в воинскую гимнастерку и лыжную шапочку, в накинутой на плечи тяжелой шинели немецкого солдата. Лицо ее поразило Янека своей величавой, задумчивой красотой. У нее на коленях лежало несколько пластинок, а у ног, между книгами и газетами, стоял старый механический фонограф.

— Кто это? — спросил чей-то насмешливый голос. — Что за младенец? Если я правильно вас понимаю, вы решили превратить нашу штаб-квартиру в *kindergarten*?[20]

Янек видел только забинтованную голову и орлиный нос на изможденном лице этого человека.

— Это Пех, — пояснил Добранский. — На него никто не обращает внимания.

— Чтоб вы все сдохли!

— Ну хватит, Пех, — сказал Добранский.

— Это сын доктора Твардовского.

Воцарилось молчание, и Янек почувствовал, что все взгляды устремились на него. Молодая женщина подвинулась, уступая ему место, и он сел между нею и молодым человеком в белой фуражке польских студентов, носить которую

---

[20] Примечания: 20
Детский сад *(нем.).*

немцы запрещали. Ему было лет двадцать пять, и его скулы были покрыты красными пятнами, которые Янек сразу узнал: он уже видел их на щеках лейтенанта Яблонского. Молодой человек улыбнулся и протянул ему руку.

— *Servus, kolego*[21], - поздоровался он по студенческому обычаю. — Меня зовут Тадек Хмура.

Женщина поставила на фонограф пластинку.

— «Полонез» Шопена, — сказала она.

Больше часа партизаны — многие прошли более десяти километров, добираясь сюда, — слушали эту музыку, все, что есть самого лучшего в человеке, словно бы для того, чтобы набраться уверенности; больше часа усталые, раненые, голодные, затравленные люди подтверждали свою веру в человеческое достоинство, которую не могли поколебать ни одно зверство, ни одно злодеяние. Янек никогда не забудет той минуты: суровые, мужественные лица, крошечный фонограф в землянке с голыми стенами, автоматы и винтовки на коленях, молодая женщина с закрытыми глазами, студент в белой фуражке и с лихорадочным взглядом, державший ее за руку; необычность, надежда, музыка, бесконечность.

---

[21] Примечания: 21

Здесь: ваш покорный слуга, коллега *(лат.). — Прим. пер.*

Потом партизан Громада взял аккордеон, и человеческие голоса слились вновь, как прижимаются друг к другу люди, стремящиеся ободрить друг друга или, быть может, убаюкать себя иллюзиями.

Тогда Добранский вынул из-под гимнастерки тетрадь.

— Я начинаю! — объявил он.

Партизан с перевязанной головой серьезно сказал:

— Мы будем строгими, но справедливыми судьями.

Добранский раскрыл тетрадь.

— Называется «Простая сказка о холмах».

— Киплинг! — торжествующе выкрикнул партизан Пех.

— Это сказка для европейских детишек… Волшебная.

И он начал читать:

Кошка мяукнула, крыса пропищала, летучая мышь пролетела… Луна влезла на небо. Шесть холмов Европы медленно вышли из тени, потянулись, зевнули и пожелали друг другу доброго вечера на языке холмов.

— Скажи мне, Дедушка, — удивленно воскликнул самый младший из холмов по имени

Сопляк, — как получается, что луна, влезая на небо, всегда выбирает твою, а не мою спину?

— Дело в том, дитя мое, что если луна влезет на твою спину, то поднимется невысоко и ничего не увидит.

— Хе-хе! — засмеялся своим дребезжащим голосом самый старый холм Бабушка-горбунья. Так называли холм, очертания которого, стертые ветром и дождями, этими великими бичами холмов, напоминали силуэт старушки за вязаньем. — Хе-хе!

— Ах ты старая ведьма! — пробурчал Сопляк, показав ей язык.

— Увы! — вздохнула Бабушка-горбунья. — Всему свое время: время любить и быть любимым, время жить и время умирать…

— Милый друг, как вы можете говорить о смерти? — весело воскликнул старый, но неизменно галантный пан Владислав.

Это был каменистый неказистый пригорок, расположенный справа от Бабушки-горбуньи и с любопытством наклонившийся к ней, словно пытаясь разузнать, что она там вяжет многие тысячи лет. Его очертания напоминали профиль веселого, сморщенного человечка, и злые языки среди холмов — где их только нет! — утвержда-

ют, будто отношения Бабушки-горбуньи и пана Владислава носят не столь платонический характер, как это принято считать, и что порой майскими ночами расстояние между двумя холмами… хе-хе!

— Как вы можете говорить о смерти? Вы, самый вечно молодой из холмов!

— Хе-хе-хе! — продребезжала польщенная Бабушка-горбунья.

Внезапно ее охватил приступ ужасного кашля, она харкнула пылью, согнав двух ворон, спавших у нее на боку, и последний дуб, росший у нее на вершине, вынужден был вцепиться в нее всеми своими корнями, чтобы не упасть, и с тревогой обратился к холму Тысячи голосов:

— Сестрица-холм, будь так любезна, успокой ее немножко! — взмолился он на языке деревьев, который ничем не отличается от языка холмов. — Мои старые корни держатся на волоске… Я уже не тот, каким был в молодости, когда самые сильные бури Европы приходили померяться силами с моими ветвями и уходили посрамленными!

— Перестаньте, Бабушка-горбунья, — вмешался холм Тысячи голосов, — успокойтесь и продолжайте…

Но тут произошло что-то странное. Безо всякой

видимой причины холм Тысячи голосов словно потерял нить своей речи и принялся воодушевленно вопить:

— Ко мне, Россия! Ко мне, Англия! Вперед, на врага! Мы победим!

Наступило минутное замешательство, и холм Тысячи голосов вступил в странный диалог с самим собой.

— Замолчи! — сказал он своим нормальным голосом. — Тихо! Или ты хочешь моей смерти?

— Я не желаю молчать! — тотчас же завопил он истерическим голосом. — Я — голос европейских народов! Вперед, на врага, вперед!

— Да замолчи же ты! Разве ты не видишь, что старые холмы трепещут от страха при одном упоминании о России! Ты хочешь, чтобы они рассыпались в прах?

— Чем скорее, тем лучше! — мгновенно ответил он самому себе чрезвычайно развязным голосом.

— Г… г… га… га…! — в возмущении пролепетал бедный Дедушка, задрожав и окутавшись таким густым облаком пыли, что Сопляк трижды громко чихнул.

— Во имя той силы, что сотворила меня холмом! А… апчхи! — чихнул он опять, задыхаясь от собственной пыли.

— Простите меня, — поспешно сказал холм Тысячи голосов. — Я глубоко сожалею… Мое эхо напилось!

— Было от чего напиться! — тотчас завопило эхо, и повсюду разлился сильный запах перно. — Сегодня утром одна немецкая сволочь заставила меня сто раз повторить: *«Heil Hitler!»* Я чуть не сдох… Разве это жизнь европейского эха?… У-у-у! — зарыдал он.

— У-у-у! — зарыдал, ко всеобщему удивлению, Крестьянский холм.

Так называли холм среднего роста, заурядной внешности, со сгорбленной спиной, впалым животом, толстой кожей и крепким сложением, который был подозрительно молчалив. Он всегда держался немного в стороне от остальных холмов.

— Вперед, на врага! — прокричало эхо, почувствовав поддержку.

— Вперед, на врага! — робко подхватил Крестьянин. Потом оглянулся вокруг и сгорбил спину. — Прошу у вас прощения! — извинился он.

В былые времена холм Тысячи голосов очень гордился своим эхом. Люди со всей Европы приходили к его подножию, чтобы поговорить с эхом.

Мнительные влюбленные шептали: «Она любит тебя!», и эхо неустанно повторяло: «Она любит тебя, она любит тебя!..» Однажды, в приливе нежности, оно даже добавило от себя: «Да что там! Она любит тебя, старина, она тебя обожает!», и перепуганный любовник бросился бежать со всех ног. В другой раз всадник в меховой шапке, проезжая мимо, крикнул ему: «Да здравствует император!» Эхо повторило этот клич, и так холм узнал о том, что родился император. Потом ему нанес визит один человечек в смешной одежде. «Я стану властелином мира!» — прокричал человечек по-немецки и поднял над собой руку. Эхо промолчало. «Я стану властелином мира, — завопил человечек, стукнув ножкой, — я стану властелином мира, я стану...» «...властелином мира, осел!» — взорвалось, наконец, эхо, вне себя от злости. «Кто здесь эхо, в конце концов? Ты или я?» Так эхо подняло знамя восстания. Теперь оно вопило:

— Дрожи, европейская земля! Похорони под собой захватчика! Дуй, ветер...

Верхушки деревьев покачнулись от тяжелого вздоха.

— Я делаю все, что в моих силах, — прошептал ветер. — Я дую так сильно, что у меня посинело

лицо. Дай мне еще зиму… Чтобы все прошло успешно, мне нужен мой друг снег!

— Вперед, леса Европы! — взмолилось эхо. — Вперед, на врага, вперед!

— Это будет непросто! — заревели леса. — Ведь наши деревья просят, чтобы им оказали честь, повесив на каждой их ветке по немецкому солдату!

Немного запыхавшись, эхо засопело. Дедушка воспользовался этим и вставил словцо.

— Не слушай, что оно говорит, Сопляк! — приказал он. — Заткни уши. Мы, холмы, позволяем людям самим улаживать свои распри. Проверим лучше, выучил ли ты урок… Начнем с живых языков. Знаешь ли ты урок английского?

— Еще бы! — сказал Сопляк и, не заставляя себя долго упрашивать, начал: *We shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air*…[22]

— Чего-чего? — пролепетал Дедушка, полуживой от страха.

Ему ответило несколько спящих лягушек, подумавших, что он обращается к ним.

— *We shall defend our Island, whatever the cost may be,* — продолжал Сопляк. — *We shall fight on the*

---

[22] Примечания: 22

Мы будем сражаться на морях и океанах, с растущей уверенностью и растущей силой мы будем сражаться в воздухе… *(англ.) — Прим. пер.*

beaches, we shall... we shall...[23] Гм?

— *We shall fight in the fields*![24] — горделиво подсказали поля.

— *We shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills...*[25]

— *In the hills*![26] — почтительно подсказали холмы.

— *We shall never surrender*.[27]

Наступила короткая пауза. Затем европейское эхо зарыдало — только европейское эхо умеет так горько рыдать — и запело великую песню:

Allons, enfants de la patrie,
Lejour de gloire est arrive.
Centre nous de la tyrannie
L'etendard sanglant est leve....[28]

---

[23] Примечания: 23

Мы будем защищать наш Остров, чего бы нам это ни стоило. Мы будем сражаться на берегу, мы будем... *(англ.) — Прим. пер.*

[24] Примечания: 24

Мы будем сражаться в полях! *(англ.) — Прим. пер.*

[25] Примечания: 25

Мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах... *(англ.) — Прим. пер.*

[26] Примечания: 26

На холмах *(англ.). — Прим. пер.*

[27] Примечания: 27

Мы никогда не сдадимся *(англ.). — Прим. пер.*

[28] Примечания: 28
Первый куплет «Марсельезы». — *Прим. пер.*

Добранский закончил читать. Закрыл тетрадь и спрятал ее под гимнастерку.

Все зааплодировали, но один партизан сказал голосом, в котором под сдержанностью и иронией плохо скрывались горечь и гнев:

— Люди рассказывают друг другу красивые истории, а потом погибают за них — они полагают, что тем самым претворяют свою мечту в жизнь. Свобода, равенство, братство… честь быть человеком. Мы здесь в лесу тоже погибаем за бабушкину сказочку.

— Когда-нибудь европейские школьники будут учить эту сказку наизусть! — убежденно сказал Тадек Хмура.

14

Поздно ночью Янек отправился в обратный путь. Его провожал Добранский. В лесу шумел ветер, ветви деревьев пели. Янек мечтательно слушал эти шорохи; они могли поведать о чем угодно. Достаточно было воображения. Стоял сильный трескучий мороз — мороз первых дней зимы.

— Снегом пахнет, — сказал Янек.

— Вполне возможно. Ты не скучал?

— Нет.

Какое-то время Добранский шел молча.

— Я надеюсь закончить свою книгу до того, как меня убьют.

— Наверное, трудно писать.

— Сейчас все трудно. Но это не так трудно, как оставаться в живых, продолжать верить…

— О чем она?

— О людях, которые страдают, борются и сходятся друг с другом…

— И о немцах?

Добранский не ответил.

— Почему немцы так поступают?

— От отчаяния. Ты слышал, что сегодня сказал Пех? Люди рассказывают друг другу красивые истории, а потом погибают за них, полагая, что тем самым претворяют свою мечту в жизнь… Он тоже близок к отчаянию. На свете есть одни только немцы. Испокон веку они рыщут повсюду… Если подходят близко, если проникают в тебя, ты становишься немцем… даже если ты польский патриот. Главное — знать, немец человек или нет… бывает ли он хоть иногда немцем. Об этом я пытаюсь рассказать в своей книге. Ты не спросил меня, как она называется.

— Как?

— «Европейское воспитание». Это название подсказал мне Тадек Хмура. Правда, он придает ему иронический смысл. По его мнению, европейское воспитание — это бомбы, кровавая бойня, расстрелянные заложники, люди, вынужденные жить в норах, как дикие звери… Но я принимаю этот вызов. Пусть мне сколько угодно говорят о свободе, достоинстве, чести быть человеком — все это, в конечном счете, бабушкины сказки, за которые погибают люди. На самом деле существуют такие моменты в истории, один из которых мы сейчас переживаем, когда все то, что не дает человеку отчаяться, все то, что помогает

ему верить и жить дальше, нуждается в укрытии, в убежище. Этим убежищем иногда становится песня, стихотворение, музыка или книга. Мне хотелось бы, чтобы моя книга стала таким убежищем, чтобы, открыв ее после войны, когда все кончится, люди нашли в ней нетронутым свое добро, чтобы они узнали, что нас можно было заставить жить, как зверей, но нельзя было довести до отчаяния. Не существует искусства отчаиваться, отчаяние — лишь недостаток таланта.

Внезапно на болоте завыл волк.

— У Тадека Хмуры туберкулез, — сказал Янек. — Здесь он умрет.

— Он знает об этом. Мы не раз убеждали его уехать. Он должен был перебраться в Швейцарию, в сана… Он бы мог — у его отца хорошие отношения с немцами. Именно поэтому…

— Что ты хочешь сказать?

— Именно поэтому он остался с нами и решил умереть среди нас: потому что у его отца хорошие отношения с немцами.

— Сталинградская битва все еще идет?

— Да. От этой битвы зависит все. Но если даже немцы выиграют войну, это будет означать лишь то, что когда-нибудь им придется приложить гораздо больше усилий, чем если бы они ее про-

играли. Они ничем не отличаются от нас, они никогда не отчаиваются. Они добьются успеха. Когда люди сплочены, они редко терпят поражение. — Он на мгновение умолк и остановился. — Я тебе кое-что расскажу. Я покажу тебе, насколько мы с ними схожи. Примерно год назад немцев охватила паника. Они сжигали деревни одну за другой, а жителей… Нет, лучше я умолчу о том, что они делали с жителями.

— Я знаю.

— Тогда я спрашивал себя: как немецкий народ все это терпит? Почему не восстанет? Почему смирился с этой ролью палача? Я был уверен, что немецкая совесть, оскорбленная, поруганная в элементарных человеческих чувствах, восстанет и откажется повиноваться. Но когда мы увидим признаки этого восстания? И вот к нам в лес пришел немецкий солдат. Он дезертировал. Он присоединился к нам, искренне, смело встал на нашу сторону. В этом не было никаких сомнений: он был кристально честен. Он не был представителем *Herrenvolk'a*:[29] он был человеком. Он откликнулся на зов самого человеческого, что в нем было, и сорвал с себя ярлык немецкого

---

[29] Примечания: 29
Расы господ *(нем.)*.

солдата. Но мы видели только этот ярлык. Все мы знали, что он честный человек. Мы ощущали эту его честность, как только с ним сталкивались. Она слишком бросалась в глаза в этой кромешной ночи. Тот парень был одним из нас. Но на нем был ярлык.

— И чем это кончилось?

— Мы его расстреляли. Потому что у него был ярлык на спине: «Немец». Потому что у нас был другой: «Поляк». И потому что наши сердца были переполнены ненавистью…

Кто-то сказал ему, уж не знаю, в качестве ли объяснения или извинения: «Слишком поздно». Но он ошибался. Было не поздно. Было слишком рано…

Он сказал:

— Теперь я тебя оставлю. Пока!

И ушел в ночь.

15

Зося возвратилась на следующий день вечером. Весь день она бродила по лесу и вернулась в отряд только после захода солнца. Янек нашел Зосю у Черва. Наверное, она принесла хорошие новости: Черв, волновавшийся последние несколько дней, теперь, похоже, успокоился.

— Ты придешь вечером?

— Да. Жди.

Чуть позже она пришла к нему в землянку. В руках у нее был пакет.

— Что это?

Она улыбнулась.

— Увидишь.

Янек разжег огонь. Дрова были сухими и быстро разгорелись. Стало почти тепло. Дерево весело трещало. Зося разделась и залезла под одеяла.

— Ты не голодна? Я могу бросить в воду пару картошек: они быстро сварятся.

— Меня накормили в городе.

Янек вздохнул. Она положила руку ему на плечо.

— Не думай об… Не надо. Это не важно.

— Я ненавижу их. Мне хочется их всех убить.

— Их нельзя всех убить.

— Но я хочу попытаться. Для начала мне хочется убить хотя бы одного.

— Не стоит труда. Все они когда-нибудь умрут.

— Да, но они не узнают, почему. Я хочу, чтобы они знали, почему умирают. Я скажу им, почему они умирают, а потом убью.

— Не думай об этом. Разденься. Иди ко мне. Вот так… Тебе хорошо?

— Да.

— Ты думал обо мне?

— Да.

— Много?

— Много.

— Все время?

— Все время.

— Я тоже о тебе думала.

— Все время?

— Нет. Когда я спала с ними, я о тебе не думала. Я не думала ни о ком и ни о чем.

— На что это похоже, Зося?

— Это как голод или холод. Как будто идешь по грязи под дождем, не знаешь, куда идти, а тебе холодно и хочется есть… Поначалу я плакала, а потом привыкла.

— Они грубые?
— Они очень спешат.
— Они бьют тебя?
— Редко. Только когда пьяные. И когда очень несчастные.
— Отчего?
— Не знаю. Откуда мне знать?
— Не будем об этом.
— Не будем об этом. Янек…
— Да?
— Я не противна тебе?
— Нет, что ты!
— Придвинься ближе.
— Я ближе не могу.
— Еще ближе.
— Еще ближе…
— Вот так.
— Зося!
— Не бойся.
— Я не боюсь.
— Может, ты не хочешь меня?
— Нет. Да.
— Не дрожи.
— Не могу.
— Дай мне тебя укрыть. Вот…
— Мне не холодно. Это не от холода.

— Отчего же тогда?
— Не знаю.
— А я знаю…
— Скажи мне, прошу тебя.
— Нет.
— Почему?
— Ты еще маленький.
— Нет.
— Скажу, когда подрастешь.
— Я уже взрослый.
— Нет.
— Я страдаю и борюсь.
— Ты еще ребенок.
— Я не ребенок. Я мужчина.
— Ты прав. Не сердись.
— Почему ты смеешься надо мной?
— Я не смеюсь над тобой. Ты мужчина. Поэтому и дрожишь.
— Объясни.
— Я не могу объяснить.
— Почему?
— Мне стыдно. Из-за слов. Они плохие.
— Ничего страшного. Расскажи мне все.
— Мне стыдно. Но ты поймешь. Побудь рядом со мной. Совсем рядом. Ты поймешь, почему дрожал… перед этим.

— После этого я не буду больше дрожать?

— Нет. Ты станешь спокойным и счастливым. Очень спокойным и очень счастливым.

— Я и так счастлив.

— Но ты дрожишь. И сердце так бешено стучит. И в горле пересохло: у тебя даже голос изменился, Янек… Наверное, я могу тебе это сказать. Наверное, ты достаточно взрослый. Наверное, я могу.

— Говори же скорее.

— Ты хочешь меня…

— Не надо так говорить. Это грязное слово. Мужчины им ругаются. Пожалуйста, больше никогда не говори его.

— Но другого нет.

— Есть. Наверняка, есть. Я спрошу. Завтра я спрошу у Добранского. Он должен знать.

— Теперь ты расстроился. Ты несчастен. Ты больше не любишь меня.

— Люблю. Я люблю тебя. Не плачь, Зося. Не надо. У нас есть время. Время учить и время забывать. Мы выучим красивые слова и забудем все плохие.

— У людей нет для этого красивого слова.

— Я его придумаю. Мы вместе его придумаем. Ты и я. Мы одни будем его знать. Мы одни будем его понимать. Мы никому его не скажем.

Мы будем хранить его в тайне. Не плачь, Зося. Когда-нибудь немцев не будет. Когда-нибудь запретят голодать и мерзнуть. Не плачь. Я так люблю тебя.

— Повтори еще.

— Сколько угодно раз. Мне нравится это повторять. Я люблю тебя. Я люблю тебя…

— Красивое слово.

— Так не плачь же.

— Я уже не плачу. Огонь погас.

— Ну и пусть.

— Янек.

— Я люблю тебя…

— Ты милый. Ты не такой, как другие.

— Как другие?

— Мне приятно, когда ты прикасаешься ко мне. Прикасайся ко мне. Положи руку сюда, на грудь. Подержи ее здесь, пожалуйста.

— Я буду держать ее здесь всю ночь.

— Янек!

— Я буду держать ее здесь всю ночь…

— Янек, Янек…

— Иди сюда, Зося.

— Иду.

— Еще ближе. Как можно ближе. Вот так, да, вот так!

— Янек!

— Не плачь, не…

— О нет, я не плачу, о нет, нет…

— Не дрожи.

— Я не могу, я не…

— Зося!

— О, мой мальчик, если б ты знал, как…

— Зося…

— О, не уходи, останься, не шевелись… мой мальчик. Вот так, не двигайся, не шевелись. Пускай твое сердце стучит, оно так счастливо.

— Твое сердце тоже стучит.

— Оно тоже счастливо.

— Они оба стучат. Они разговаривают.

— Они оба счастливы.

— Нет, они не разговаривают, они поют. Зося, знаешь…

— Да?

— Это как музыка.

— Это прекраснее музыки.

— Это прекрасно, как музыка.

— Я не встречала ничего прекраснее. Если б ты знал, как я счастлива.

— Ты все еще дрожишь.

— Наверно, теперь я буду дрожать всегда. А ты стал таким спокойным, таким тихим.

— Я счастлив.

— Не оставляй меня, Янек. И прости меня… за город.

— Я прощаю тебе все. Я прощу тебе все.

— Я не знала, что это было. Я не ведала, что творю. Янек…

— Говори.

— Я больше не хочу заниматься этим с ними.

— Ты больше не будешь этим заниматься.

— Я больше не хочу заниматься этим ни с кем, кроме тебя. Только с тобой. Обещай мне!

— Я обещаю тебе.

— Я знала только это плохое слово и боль. Ты больше не пустишь меня к ним?

— Не пущу.

— Ты скажешь Черву?

— Завтра.

— Он поймет.

— Мне все равно, поймет он или нет.

— Он поймет. Он и раньше не решался смотреть мне в глаза. Можно мне жить вместе с тобой?

— Прошу тебя, живи вместе со мной, Зося.

— Знаешь, ведь я не больна.

— Мне все равно.

— Немецкие врачи регулярно меня осматривали. Это Черв придумал, чтобы меня здесь не

трогали.

— Правильно сделал.

— И почему я раньше тебя не встретила?

— Я не сержусь на тебя. Это все равно, что погибнуть или умереть от голода. Это ничем не хуже и не лучше: это то же самое, это немцы.

— Но они не виноваты. Люди не виноваты. У них руки сами тянутся.

— Люди не виноваты. Виноват Бог.

— Не говори так.

— Он суров с нами.

— Нельзя так говорить.

— Он позволил немцам сжечь нашу деревню.

— Может, это не его вина. Может, он просто ничего не мог поделать.

— Он послал нам голод и холод, немцев и войну.

— Может, он очень несчастен. Может, это не от него зависит. Может, он очень слаб, очень стар, очень болен. Не знаю.

— Никто не знает.

— Может, он хотел нам помочь, но кто-то ему помешал. Может, он пытается. Может, у него получится, если мы ему немножечко поможем.

— Может быть. Почему ты вздыхаешь?

— Я не вздыхаю. Я счастлива.

— Положи сюда голову.
— Вот.
— Закрой глаза.
— Вот.
— Спи.
— Сплю… Угадай, что у меня здесь, в бумаге.
— Книга.
— Нет.
— Еда.
— Нет, смотри.
— Плюшевый медвежонок. Такой славный.
— Правда?
— Когда я был маленьким, у меня тоже был такой. Я звал его Владеком.
— А моего зовут Миша. Он у меня уже давно. Я всегда спала с ним, когда была маленькой. Это все, что у меня осталось от родителей. Я всегда сплю с ним… Правда, Миша?
Ее полусонный голос тихо произнес в темноте:
— Это мой талисман.

16

Они собрались в землянке студентов. На огне весело свистел чайник: Пех вызвался заварить чай. Он как раз готовил его, совершая магические жесты и соблюдая волшебный рецепт, который якобы получил от старого, опытного и всеми любимого лесного козла. Впрочем, Пех охотно делился своим рецептом. «Возьмите морковь, — говаривал он, — высушите ее, натрите на терке, бросьте на три-четыре минуты в кипящую воду...» — «И что, вкусно?» — спрашивали его. «Нет, — откровенно признавался Пех, — но зато горячий, и цвет хороший!»

Тадек Хмура лежал на одеяле, подложив под голову спальный мешок, и смотрел на огонь. Его подруга сидела с закрытыми глазами рядом, держа его за руку; Янек видел ее красивое лицо, а за ним — винтовки и автоматы, прислоненные к земляной стене.

Теперь он хорошо знал их. Молодая женщина Ванда и Тадек Хмура познакомились в университете, где ходили на лекции по истории; Пех, молодой партизан, раненный в голову, изучал право.

Университет, экзамены, карьера преподавателя, к которой они себя когда-то готовили, — все это было из другого, исчезнувшего мира. И, тем не менее, их берлога была наполнена книгами, и Янек с удивлением узнал, что они проводили долгие часы, склонившись над томами по истории и праву, которые продолжали изучать. Янек взял толстый фолиант по конституционному праву, открыл его на странице, озаглавленной «Декларация прав человека — Французская революция 1789 года», и закрыл книгу с насмешливой ухмылкой.

— Я понимаю, — тихо сказал Тадек Хмура. — Это очень трудно принимать всерьез. Университеты Европы всегда были лучшими и прекраснейшими в мире. Именно в них зарождались наши самые прекрасные идеи, вдохновившие наши самые великие творения: идеи свободы, человеческого достоинства, братства. Европейские университеты стали колыбелью цивилизации. Но есть и другое европейское воспитание, которое мы получаем сейчас: расстрелы, рабство, пытки, изнасилования — уничтожение всего, что делает жизнь прекрасной. Это година мрака.

— Она пройдет, — сказал Добранский.

Он обещал им прочесть отрывок из своей книги. Янек ждал с нетерпением, поставив обжигаю-

щий котелок на колени. Он уговорил студентов пригласить Червa, и сейчас Черв скромно сидел в углу, поджав колени и прислонившись спиной к земляной стене. Чтобы лучше слышать, он снял свой платок: Янек впервые видел его с непокрытой головой. У него были темные, вьющиеся, блестящие волосы, и выглядел он дикарем. Он ничего не говорил, пил свой чай, важно мигал глазом и, казалось, был доволен тем, что находится здесь. Тадек Хмура сильно кашлял — тихим, мягким кашлем… И всякий раз, как бы извиняясь, прикладывал руку к губам. Добранский часто с беспокойством посматривал на него.

— Начинай! — попросил Тадек.

Добранский порылся под гимнастеркой и вытащил толстую тетрадь.

— Если вам надоест, можете меня прервать.

Послышались возражения. Но Пех грубо сказал:

— Товарищ может положиться на меня.

— Спасибо. Действие отрывка, который я вам прочту, происходит во Франции. Он называется: «Французские буржуа».

— Буржуи, — заметил Пех, — везде одинаковые. Хоть в Париже, хоть в Берлине, хоть в Варшаве. — И демонстративно заткнул себе нос: — Во всех

странах мира от них одинаково смердит!

— Замолчи, Пех, — по-хорошему попросил его Тадек. — Ты у нас коммунист — ну и прекрасно, продолжай в том же духе, там будет видно! А пока что отстань от нас.

— Я начинаю, — сказал Добранский. И принялся читать:

Мсье Карл входит в дом и тщательно вытирает ноги, уважительно думая о консьержке мадам Лэтю. «Маленькие знаки внимания приводят к большой дружбе…» С радушным видом он стучит в дверь швейцарской и заходит, здороваясь на чистейшем французском: «Добрый вечер, мсье-дам».

— Мсье Карл! — восклицает мадам Лэтю. — Наконец-то вы пришли… Переведите мне, пожалуйста, что говорят эти господа.

Мсье Карл степенно надевает очки и поворачивается к двум молодым людям в плащах, которые с мрачным видом стоят в швейцарской. «Коллеги», — узнает он. Со второго взгляда он понимает, что в иерархии гестапо оба посетителя стоят намного выше него.

— *Meine Herren*?[30]

---

[30] Примечания: 30
Господа? *(нем.)*

Щелканье каблуков. Вежливый обмен гортанными, короткими фразами. «Французский бог, сделай так, чтобы все получилось! — думает мадам Лэтю. — Сделай так, чтобы все прошло благополучно!» Ее сердце странно ведет себя у нее в груди — точь-в-точь как два года назад, когда она получила первую весточку от мужа. «Я в плену. Думаю о тебе. Не падай духом». Опять щелканье каблуков.

— *Aber naturlich*![31] — улыбается мсье Карл.

Он с отеческим видом поворачивается к мадам Лэтю.

— Чистая формальность, сударыня! Эти господа полагают, что в нашем доме прячется вражеский парашютист.

Он снимает свой ключ с гвоздя.

— *Ausgeschlossen*![32] — сухо говорит он. — Я знаю обо всем, что происходит в этом доме. *Aber naturlich*... Это ваш долг.

Он отвечает на их приветствие и уходит. Немецкие власти поручили мсье Карлу наблюдать за «спокойствием» в районе. Это ответственный пост. Его метода проста. Мягкость, такт, чувство

---

[31] Примечания: 31
Ну, конечно! *(нем.)*

[32] Примечания: 32
Исключено! *(нем.)*

меры. Знать обо всем, ни о чем не спрашивая. Выставлять себя другом, верным союзником. Он умышленно распространяет о себе фантастические слухи. Как однажды он укрывал у себя молодого студента, распространявшего листовки. Как в другой раз сурово наказал одного обнаглевшего немецкого офицера. Парижские буржуа наивны. Они даже не подозревают о подпольной борьбе. Завоевать их доверие — проще простого.

— Мсье Карл!

Мадам Лэтю взбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, несмотря на свое чудаковатое сердце.

— Совсем забыла… Эта течь у вас в ванной… Я вызвала водопроводчика, он как раз пришел.

— Я вам бесконечно признателен! — говорит мсье Карл, приподнимая шляпу.

Но мадам Лэтю уже бежит обратно в швейцарскую.

— Только бы все прошло благополучно…

Она натыкается на щуплого человечка, который робко извиняется.

— Я пришел попрощаться с вами, — бормочет мсье Леви.

«Чего ему от меня нужно? — пытается сообразить мадам Лэтю. — Ах да, он ведь съезжает. Вчера

мсье Карл приказал ему освободить помещение в двадцать четыре часа. Надо бы сказать ему что-то приятное… Бедняжка! Но только не сейчас, не сейчас!» Она толкает дверь швейцарской и выходит с улыбкой на губах к двум угрюмым молодым людям. На лестнице мсье Карл встречает Грийе. Грийе всегда крутится где-то поблизости от мсье Карла, размахивая своими боксерскими ручищами, словно верный пес, и мсье Карл весьма гордится его немой преданностью. Он часто дает ему на чай, угощает сигаретами. «Маленькие знаки внимания приводят к большой дружбе!» Грийе — человек на побегушках. Он помогает мадам Лэтю и выполняет небольшие поручения жильцов. Он смотрит на мсье Карла добрыми глазами преданной собаки. Мсье Карл дружески похлопывает его по плечу и поднимается дальше по лестнице, насвистывая «Хорста Весселя».[33] Он считает свой дом лучшим в районе. Никаких тебе неприятностей, никаких историй. Отношения с жильцами теплые и сердечные. Взаимное уважение, взаимопонимание. Вежливость. Полная откровенность. Взаимопомощь. Учтивость. Одним словом, сотрудничество! В дру-

[33] Примечания: 33

«Хорст Вессель» — эсэсовский марш, позднее — официальный гимн нацистской партии и неофициальный гимн Германии. — *Прим. пер.*

гих домах приходилось угрожать, арестовывать, даже расстреливать. Бывали истории с листовками, с подпольными газетами, укрыванием английских шпионов. Были даже покушения. Но этот дом такой послушный, такой покорный, просто паинька. За парочкой исключений, как водится. Например, мсье Оноре, семидесятидвухлетний старик, который никогда не отвечает на приветствия мсье Карла, не разговаривает с ним и, похоже, даже не догадывается о его существовании. А еще мсье Брюньон, торговец сыром. Сталкиваясь с мсье Карлом, он всегда грубо хлопает его по животу и орет, заливаясь сумасшедшим хохотом: «Сталинград, Сталинград, хмурая степь… ха-ха-ха!» Мсье Карл слышит шаги и поднимает голову: по лестнице спускается мсье Оноре. Он держится очень прямо, опираясь на трость. Смотрит не на мсье Карла, а сквозь него. «Все как обычно!» Мсье Карл всегда обижается; он согласен на то, чтобы его ненавидели, но ни за что не желает, чтобы его не замечали. Пока этот тронутый француз проходит мимо, у него появляется ощущение, будто его вообще не существует. И как бы для того, чтобы доказать свое существование, он хватается за шляпу и быстро здоровается. Мсье Оноре, естественно, не отвеча-

ет. Его взгляд проходит сквозь лицо мсье Карла, словно это пыльное стекло.

— Послушайте! — внезапно говорит мсье Карл шутливым тоном. — Объясните мне, в конце концов. Я пришел сюда не как победитель, а как друг и союзник.

Мсье Оноре останавливается. Он поворачивается к мсье Карлу. Смотрит на него. Да, он на него смотрит. Мсье Карлу кажется даже, что он не только смотрит, но и видит его.

— Да здравствует Россия, мсье! — выкрикивает мсье Оноре. — Да здравствует Россия!

Он ждет некоторое время, приковав взгляд к мсье Карлу, сжимает в руке трость и спускается дальше… Этажом ниже мадам де Мельвиль принимает мадам Лэтю в сопровождении двух угрюмых молодых людей. Мадам де Мельвиль — очень старая дама с седыми волосами. Она впускает их в прихожую и с ходу начинает:

— Живет ли у меня кто-нибудь? Нет, я одинока. Мой муж был убит в другую войну — в ту, хорошую! — а мой сын в Англии. Да, господа, его здесь нет, он в Англии. В Англии. Вы ведь знаете такую страну? Оттуда еще самолеты летали бомбить Берлин. Мой сын служит в авиации. Он воюет против вас. Каждую ночь он сбрасывает бомбы

на ваши города. Вы не понимаете по-французски? Жаль. Мой сын… Аэроплан… Бомбы… Берлин… Понимаете?

Мадам де Мельвиль говорит медленно, с улыбкой. Она не нервничает. Она просто тянет время. «Только бы Грийе успел! Только бы он вовремя убрал корзину!» Два молодых человека пристально смотрят на мадам де Мельвиль.

— Это я уговорила его уехать. Неважно, что я осталась одна. Я счастлива. Я счастлива, что мой сын воюет против вас. Он приносит вам горе, которое научит вас быть человечными…

Молодые люди обмениваются хриплыми фразами и начинают обыскивать квартиру. Стучат в дверь, и мадам Лэтю открывает. Это всего лишь мсье Леви со шляпой в руке.

— Я просто хотел попрощаться с мадам де Мельвиль, — робко говорит он.

Мадам де Мельвиль переходит из комнаты в комнату вслед за двумя молодыми людьми. Их нужно задержать. Нужно выиграть время. Нужно, чтобы Грийе успел вынести корзину из дома.

— Ищите. Смотрите. Топчите. Можете жечь, грабить, убивать, если вам так больше нравится. Мне все равно. Вы не сможете помешать англичанам бомбить ваши города, улицу за улицей.

Кёльн, Гамбург, Берлин… вы поймете. Англичане откроют вам глаза. Вы поймете нас на развалинах своих городов, перед могилами своих детей. Вы уже начинаете понимать… Недалек тот день, когда вы скажете: «Мы больше не будем!» Но будет слишком поздно.

— *Die alte Schickse ist verruckt*![34] — говорит, наконец, наиболее нервный из молодых людей, пожимая плечами.

Добранский остановился и повернулся к Тадеку.

— Что ты об этом думаешь?

— Возможно, это правда. Наверное, это правда. Я не спешу с выводами, и парижские буржуа не вызывают у меня ни малейшего восхищения. Они учили в школе басни Лафонтена, размышляли над Монтенем, построили Нотр-Дам и дали миру то, что теперь мир пытается себе вернуть: Свободу. Они хотят оставаться французами. Здесь нечем восхищаться и не за что благодарить.

— А я думаю… — начал Пех.

— Лежи себе! Молчи!

---

[34] Примечания: 34
Старуха рехнулась! *(нем.)*

— Эпинальские картинки![35] — все же прохрипел Пех. — Святая вода. Промывка мозгов.

Добранский продолжал:

Мсье Карл добрался до двери своей квартиры. Он вставляет ключ в замок…

В эту минуту открывается дверь напротив, и на площадку выходят мсье и мадам Шевалье.

— Мсье Карл!.. Какой приятный сюрприз!

Мсье Шевалье подскакивает к мсье Карлу и горячо жмет ему руку с таким видом, будто он наконец-то нашел своего старого друга. Мсье Карл приятно удивлен и не сопротивляется. Шевалье — его самые преданные друзья, самые послушные овечки. Мсье Шевалье никогда не говорит «Германия», а «наш благородный и великодушный зарейнский союзник»; никогда не говорит «фюрер», а «гениальный вождь Новой Европы»; в его устах немецкая армия всегда превращается в «армию порядка», а если он упоминает о «сотрудничестве», на лице проступает глубокое волнение, голос немного дрожит, а на глаза иногда наворачиваются слезы. Мадам Шевалье

---

[35] Примечания: 35

Эпиналь — город в Лотарингии (восточная Франция). В XVIII–XIX вв. прославился комиксами, популярными среди французского и голландского простонародья. «Эпинальские картинки» — невзыскательная, лубочная литература *(нарицат.). — Прим. пер.*

никогда не раскрывает рта, лишь молитвенно складывает руки, словно перед святой иконой, и смотрит на мсье Карла с немым и слегка туповатым обожанием. Иногда, в минуты сомнений, которые бывают у каждого, все это кажется мсье Карлу слишком хорошим, чтобы походить на правду. Порой у него возникает ощущение, будто он стал жертвой гнусной комедии или злого «розыгрыша», как говорят французы. Но он объясняет это своей врожденной подозрительностью и нервами, расшатавшимися за десять лет полицейской службы. Достаточно только послушать взволнованное тремоло в голосе мсье Шевалье, когда он говорит о «чете Франция-Германия». Достаточно посмотреть на его лицо, чтобы полностью успокоиться. У мсье Шевалье маленькие усы щеточкой, а на лбу — прядь непослушных волос, которой он очень гордится. «Я никого вам не напоминаю?» — словно бы спрашивает его лицо с очаровательной застенчивостью.

— Мсье Карл, — говорит мсье Шевалье, — мы всегда рады пожать вам руку…

Он замолкает. На площадке появляется Грийе с опущенными руками и прилипшим к нижней губе окурком. С потухшим взглядом он наклоняет вперед свое изуродованное боксерское лицо.

— Я пришел за бельем! — ворчит он.

— За бельем? — переспрашивает мсье Шевалье. — Бельем? Ах, да… ну, конечно, за грязным бельем… В ванной, старина!

Он хватает мсье Карла за руку и яростно трясет ее с влажным от пота лицом. «Белье» — это последний номер «Либерасьон», которую мсье и мадам Шевалье печатают на миниатюрном станке в ванной, а Грийе со своими друзьями разносит ночью по кварталу. Только бы мадам де Мельвиль задержала полицейских еще на несколько минут… Только бы Грийе проскочил. Квартира мадам де Мельвиль расположена этажом ниже. Вот сейчас двое молодых людей поднимутся, и тогда… станок надежно спрятан, но большую корзину спрятать невозможно. Достаточно будет только приподнять сукно, и «Либерасьон» перестанет существовать… вместе с мсье и мадам Шевалье.

— Благодарю вас! — торжественно говорит мсье Карл.

Мадам Шевалье смотрит на него с восторгом, слегка наклонив голову, приоткрыв рот и сложив руки… Грийе выходит из квартиры. Он несет в руках корзину, накрытую грязным сукном. С оторопевшим видом, зажав в зубах окурок, он на-

чинает медленно спускаться по лестнице… Мсье Шевалье продолжает трясти руку мсье Карла, словно робот. «Один этаж… второй… Прошел!»

— Благодарю вас, — говорит мсье Карл, — и прошу вас извинить меня. Мне нужно представить рапорт…

Мсье Шевалье прикладывает палец к губам.

— Ни слова! — говорит он, понизив голос. — Мы все поняли!

Он трясет прядью, повторяя: «Тсс, ни слова!», и уходит на цыпочках, жена — за ним. Он закрывает дверь как раз вовремя, чтобы подхватить жену, бесшумно падающую в обморок… Безропотно, с закрытыми глазами мсье Карл ждет на площадке. К нему со всего разгону подбегает радостный мсье Брюньон. «Может, хоть сегодня, он изменит своим привычкам?» — думает мсье Карл, скривив лицо, как от зубной боли. Но уже слышит идиотский смех мсье Брюньона. «Только бы не хлопал меня по животу…» Но уже получает первого тумака.

— Сталинград, Сталинград… хмурая степь! — кричит мсье Брюньон. — Ха-ха-ха!

Мсье Карл яростно поворачивает ключ в замке и заходит в свою квартиру. Его хорошее настроение улетучилось, он взвинчен, ему не по себе.

«Ну, ну… побольше такта, мягкости!» Он слышит шум воды. «Ах да… водопроводчик!» Он заходит в ванную. Над ванной склонился молодой человек в синем комбинезоне, его инструменты разбросаны по паркету.

— Долго еще?

— С полчаса, мсье.

Звонят в дверь. «Это конец!» — думает молодой человек. Он не боится. Жаль только, что в Лондон не дойдут важные донесения и Сопротивление потеряет еще одного ценного связного… Мсье Карл открывает дверь и сталкивается нос к носу с мадам Лэтю и двумя угрюмыми молодыми людьми. Мадам Лэтю бледна и расстроенна. Но мсье Карлу наплевать на мадам Лэтю.

— Какого черта вам нужно? — кричит он по-немецки. — *Das ist aber unerhort, unerhort! Glauben Sie vielleicht, dass ich einen englischen Spion unter meinem Bett verstecke*?[36]

Щелканье каблуков. Извинения.

— Я им несколько раз сказала, что это ваша квартира, — объясняет мадам Лэтю. — Но они по-французски не понимают.

Она закрывает глаза. «Французский бог, сделай

---

[36] Примечания: 36

Это неслыханно! Или вы думаете, что я прячу английского шпиона у себя под кроватью? *(нем.)*

так, чтобы он захлопнул дверь!» Она слышит хлопок и открывает глаза: дверь заперта.

Добранский отпил чая. Пех воспользовался этим и ринулся в атаку.

— Товарищ работает даром, — поинтересовался он, — или, может, эта проституция приносит ему какой-то доход?

— Даром! — печально признался Добранский. И снова взялся за свою тетрадь:

Вечер. В доме тишина. Молодой человек в синей блузе ушел, прихватив подмышку свои инструменты. Двое угрюмых молодых людей тоже ушли, но в другую сторону. У себя на чердаке Грийе думает о завтрашнем дне. Завтра нужно будет перенести в другое место секретный радиопередатчик… Завтра нужно раздобыть документы для английского летчика, скрывающегося в Исси… Снова риск, снова опасность. Он закуривает и улыбается. Как далеко от него теперь Спиноза и Бергсон, подготовка лекций по философии и проверка письменных работ! Его учеников разбросало. Одни в Англии… Другие погибли или попали в плен. Третьи пока скрываются и работают, так же, как он… как он, вместе с ним. «Завтра, — думает он, — нужно заняться семьями двух рабочих, расстрелянных на „Рено“!»

Уютно устроившись в своей квартире и обув теплые домашние тапочки, мсье Карл трудится над еженедельным рапортом начальству. «Могу без ложной скромности утверждать, — пишет он, — что на моем участке царит полнейшее спокойствие. Парижскими буржуа очень легко руководить. Немножко такта, чувство меры, чуткость… Принимать их такими, какие они есть, вот что главное. Нужно стать их другом, завоевать их уважение и доверие. Ласковое слово, небольшая услуга… установить атмосферу согласия, сердечности. Париж не в силах устоять перед любезным обращением…»

Довольный собой, он отрывает перо от бумаги и мечтает. Он уверен, что его рапорты будут высоко оценены и переданы выше… Еще выше, и еще выше… все выше и выше будут передаваться его рапорты. «Герр локальгауляйтер Обер — ценный человек», — скоро начнут о нем шептаться. Ему доверят новые должности. Более высокие, все более и более высокие! Держа перо на весу и засунув ноги в тапочки, мсье Карл мечтает… В своей комнате мсье Шевалье пишет статью для нового номера «Либерасьон». В ванной его жена склонилась над миниатюрным печатным станком. «Наберитесь терпения, — пишет мсье Шева-

лье. — Ведите двойную игру. Бейте только ночью и наверняка. Не подвергайте опасности свои семьи и детей. Не теряйте голову. Не сжимайте кулаков. Пусть ваши руки будут расслабленными, а лица — спокойными. Улыбайтесь. Ни в чем не сомневайтесь. И знайте одно: они придут, они готовятся. Они придут, как приходит завтрашний день. Тогда вы сбросите маску. Вы возьметесь за оружие. Вы дадите волю своему гневу… И тогда наступит Освобождение!»

На мадам Лэтю обрушивается новое трагическое испытание. Немного успокоившись, она поднимается к мсье Леви, чтобы попрощаться по всем правилам. Она звонит. Мсье Леви не открывает. «Съехал!» — думает мадам Лэтю. Она берет запасной ключ и отпирает дверь. Входит. Да, мсье Леви уехал. Его тщедушное тело висит на веревке посреди гостиной. Он уехал. Без пропуска пересек границу. Перешел в свободную зону. На столе положил на виду свое удостоверение личности, словно бы для того, чтобы уточнить, кто он такой и почему уехал. Наверное, немного колебался, перед тем как уехать. Наверное, немного побаивался, что двери того света перед ним запрутся, а вверху будет красоваться надпись: «Евреям вход воспрещен».

В тапочках и с довольной улыбкой на губах мсье Карл продолжает составлять свой замечательный рапорт. «Заставить себя полюбить, — пишет он, — вот в чем секрет моего скромного успеха, и таким должен быть наш лозунг в этой стране… Играть с младенцами. Уступать место дамам в метро… Маленькие знаки внимания приводят к большой дружбе. Обаяние, доброжелательность. У парижских буржуа нет опыта подпольной борьбы. Они еще не любят нас, но уже восхищаются нами. Через пятьдесят лет сыновья забудут о том, что их отцы говорили по-французски!»

Добранский закрыл тетрадь и спрятал ее под гимнастеркой.

— Ну как?

Пех напустил на себя совершенно равнодушный вид. Он налил кипятку в ведро и теперь с наслаждением окунал ноги в горячую воду. Зажмурился и склонил голову набок… Он наслаждался.

— У меня есть пара сомнений, — вдруг сказал Черв. — Я думаю…

Он запнулся и сильно покраснел.

— Говори прямо, Черв.

— Я думаю, ты ошибаешься. Ты все идеализируешь… Лично у меня буржуа не вызывают

никакого доверия… парижские они или какие-нибудь еще. Я готов поспорить, что мсье Оноре служит Виши, и очень опасаюсь, что твой мсье Брюньон спокойно продает сыр немцам по сходной цене. Что же касается твоего мсье Леви…

— Ну?

— Он просто осел. В наше время евреи не кончают с собой. Они убивают или погибают. Если, конечно, эти евреи — не чертовы мелкие буржуа…

Послышалось одобрительное кудахтанье: то был Пех. Он библейским жестом вытер ноги, показал их присутствующим и сказал, указывая на Добранского огромным пальцем ноги:

— Видите… Я совершенно не виноват в смерти этого праведника!

Когда поздно ночью Янек вернулся в землянку, Зося уже спала. Она не слышала, как он вошел. Янек на минуту прислушался к ее размеренному, спокойному дыханию. Разделся, залез к ней под одеяло и положил голову ей на грудь. Но она не проснулась. Он слышал, как тихо бьется ее сердце… Так он и уснул, под безмятежный шепот ее сердца. Утром он сказал ей:

— Знаешь, Добранский пишет книгу.

— Он тебе ее показывал?

— Да.

— О чем она?

Янек замялся. Потом печально прижал девочку к себе:

— О том, что мы не одни, — сказал он.

17

Однажды утром, под самым носом у охранявших их *Feldgraue*,[37] взорвались два моста через Вилейку. В тот же день взрывом был частично разрушен электрический трансформатор в Антоколе, и по лесу пронесся слух: «Партизан Надежда вновь принялся за дело». Немцы расстреляли более десятка заложников; избили до полусмерти своих информаторов; объявили о намерении сжечь лес будущим летом, чтобы покончить с «зелеными». В своем ежемесячном рапорте за ноябрь 1942 года гауляйтер Кох с раздражением отмечал, что попытки найти особу, скрывающуюся под псевдонимом Партизан Надежда, время и силы, попусту растраченные на то, чтобы положить конец подвигам человека, вселяющего мужество и надежду в целый народ, обошлись немецкой армии намного дороже, чем действия самих партизан, которые, между тем, активизировались.

Отныне во взглядах мужчин, женщин и детей, смотревших на оккупантов, засветился огонек

---

[37] Примечания: 37
Солдат-пехотинцев *(нем.)*.

немного насмешливой радости, и берлинским службам психологической войны стало ясно, что пришло время покончить с человеком, имя которого породило в уже завоеванной стране подлинный миф о непобедимости.

Тогда по приказу самого Кальтенбруннера был испробован чрезвычайно искусный маневр: немецкие газеты объявили о том, что главнокомандующий польской армии «зеленых» генерал Надежда, настоящая фамилия которого Малевский, арестован вместе со всеми своими заместителями. Всем агентствам новостей были розданы его фотографии — гордый, красивый мужчина исполинского роста, закованный в наручники; нейтральные же государства известили о том, что польское сопротивление лишилось своего вождя. Однако партизаны со смехом смотрели на эту фотографию и пожимали плечами: они-то хорошо знали, что это газетная «утка», убогая попытка довести их до отчаяния. Человек, сфотографированный немцами, был подставным лицом: он не мог быть Партизаном Надеждой, потому что их герой неуловим и непобедим, его защищает весь народ, и ни одна материальная сила в мире не способна помешать ему неуклонно идти к победе.

В лесу под Вилейкой Янек, подобно всем партизанам, подобно всей Польше в то время, непрестанно задавался вопросом, кто же в действительности главнокомандующий армии «зеленых». Когда лес оглашало очередное эхо его подвигов, когда приходили двое студентов с радиопередатчиком, всегда заканчивавших свои сообщения словами «Завтра будет петь Надежда», которые Янек теперь узнавал даже азбукой Морзе, мальчика охватывало такое нестерпимое любопытство, что он терял сон и изводил Черва вопросами.

— Я уверен, что ты знаешь, кто он.

Черв серьезно смотрел на Янека и мигал глазом. От него невозможно было ничего добиться. И все труднее и труднее становилось отделить действительные подвиги героя от тех, которые ему приписывала народная фантазия. Когда прошел слух, что Партизан Надежда сражается под Сталинградом, Янек с удвоенной силой пытался выудить у Черва хоть какие-то крохи информации, но последний, казалось, издевался над ним — молчал, а его невероятно серьезный правый глаз мигал все быстрее и быстрее, отчего лицо его казалось еще насмешливее. В конце концов он сказал Янеку:

— Да, я знаю его.

Янек сильно испугался. Внезапно ему расхотелось знать об этом. Возможно, Партизан Надежда вовсе не его отец, на что он втайне все еще надеялся, а это означало бы, что его отец мертв. Но отступать было поздно.

— Ты видел его?

— Разумеется, видел. Но главное — я его слышал.

— Так кто же он?

Черв серьезно, пристально посмотрел на него.

— Поклянись, что никому не скажешь.

— Клянусь, — сказал Янек.

— Ну хорошо, я скажу тебе. Это соловей. Наш старый польский соловей, испокон веку поющий в лесу. У него очень красивый голос. Его так приятно слушать. Понимаешь, пока поет этот соловей, с нами ничего не случится. В его голосе — вся Польша.

Янек посмотрел на него с негодованием, но лицо Черва было очень серьезным, и он столь дружелюбно мигал ему глазом, что на него нельзя было рассердиться. К тому же, подлинная личность Партизана Надежды была военной тайной огромной важности, и он не имел права ее разглашать.

Однажды утром к Янеку пришел Добранский и долго с ним говорил.

— Прежде всего, я хочу, чтобы он пришел сюда, в лес. Чтобы он увидел его, поговорил с ним…

— Это ни к чему не приведет…

— Бесспорно. Но мы должны попытаться.

— Ладно. Я сейчас же схожу к нему.

Янек пришел в Вильно в полдень. Особняк Хмуры стоял рядом с Большим театром. Колонны театра были обклеены немецкими афишами: для оккупационных войск давали «Лоэнгрина».[38] Янек прошел через кипарисовый сад, вытер ноги, позвонил. Дверь открыл старый слуга. Сурово посмотрел на гостя, одетого в лохмотья.

— Пошел вон! Мы не даем нищим.

— Я пришел к пану Хмуре по поручению его сына.

Лицо старика посветлело.

— Входи, малыш, входи.

Он запер дверь, повесил цепочку и просеменил к Янеку.

— Как здоровье пана Тадеуша?

— Он очень болен.

— Езус Марья, Езус Марья…

---

[38] Примечания: 38

Опера Рихарда Вагнера (1813–1883), написанная в 1845-48 гг. — *Прим. пер.*

Он вытер слезы. Его голова с длинными седыми волосами затряслась.

— Он родился и вырос у меня на глазах… Я вырастил их обоих, отца и сына… Езус!

Старик немного распрямил свою сгорбленную спину.

— Нельзя ли мне прийти к нему?

— Посмотрим.

— Спроси его, малыш, скажи ему, что я, старый Валентий, хочу прийти к нему…

— Я скажу ему.

— Спасибо, большое спасибо, малыш. Ты хороший мальчик. Я сразу это увидел. Как только открыл дверь, тут же подумал: «Вот ангелочек с золотым сердцем…» Да, да… Хочешь пойти на кухню чего-нибудь поесть?

— Нет. Я хочу поговорить с паном Хмурой.

— Хорошо, хорошо, как тебе угодно, малыш… Не сердись, я уже иду, иду…

Он ушел, горбясь и приволакивая ногу. Янек огляделся. Богатое жилище. Мебель резная и золоченая — так же, как и рамы картин, ручки дверей и окон, а с потолка свисает великолепная люстра. Ковры толстые и мягкие, с радующими глаз рисунками. Янек подумал о норе в холодной земле и о студенте, дрожащем на груде тряпья…

Дверь шумно открылась, и в приемную вошел пан Хмура. Это был дородный человек с багровым, холерическим лицом.

— Тебя прислал мой сын? Странно… Говори!

— Не кричите, пожалуйста, — сказал Янек. — Лично мне вы не нужны…

— А ты мне, выходит, нужен? Ну ладно, говори! Ты хочешь денег? Эта банда требует выкуп?

— Барин, — взмолился Валентий, — барин, следите за выражениями!

Хмура закусил губу.

— Ну, — хрипловато сказал он, — как он? Все такой же упрямый?

— Туберкулез — упрямая болезнь, — сказал Янек.

— *Rany boskie*,[39] что он говорит? — запричитал Валентий. — Как такое может быть?

— Он сам этого хотел, — сказал Хмура. — Он сделал все для того, чтобы это произошло. Он мог бы лечиться, как принц. Но не захотел. И ради чего, спрашивается?

— Езус Марья, — пролепетал Валентий. — *Co to bedzie? Co to bedzie*?[40]

---

[39] Примечания: 39
Страсти Господни! *(польск.)*

[40] Примечания: 40
Что же будет? *(польск.)*

— Я хочу увидеть его, — сказал Хмура.

— Я пришел за вами.

Хмура повернулся к Валентию.

— Принеси мне шубу.

— Ишь ты, какой скорый: «Принеси мне шубу», — проворчал старик. — А может, пану Тадеушу холодно? Может, он голоден?

— Довольно, — сказал Хмура. — Он сам этого захотел. Мы с тобой ничего не можем тут поделать.

— Как сказать, как сказать! — брюзжал старик. — Ваш покойный отец, царство ему небесное, никогда не связывался с пруссаками!

— Принеси мне шубу.

Старик ушел, ворча себе под нос. Когда Валентий вернулся с шубой в руках, он сам уже был одет по-дорожному.

— Я поеду с тобой, — пробормотал он. — Знаю я вас обоих. Шагу без меня не ступите.

Когда они добрались до леса, уже стемнело. Янек повел их к пруду у Старой мельницы.

— Ждите здесь.

Он оставил их. В землянке студентов он нашел Тадека и Добранского, склонившихся над шахматами. В очаге догорал огонь. Где-то под грудой грязного тряпья храпел невидимый Пех.

— Пришел отец товарища, — сказал Янек. — Он хочет его видеть. Я оставил его у пруда.

— Мог бы и сюда привести, — сказал Тадек. — Если я сделаю рокировку, то потеряю коня. Но если я не рокируюсь… Нет, конечно, я рокируюсь.

— Твой конь может подождать. К тому же, он меня не интересует. Шах королю и ферзю.

— *Psia noga*![41] — грустно выругался Тадек. — Не везет мне в шахматы.

Он посмотрел на Янека своим лихорадочным взглядом.

— Товарищ проявил неосторожность. В следующий раз мой отец приведет с собой немцев… Думаю, Адам, нам придется сменить лес!

— Сходи к нему, — сказал Добранский, расставляя шахматы. — В конце концов, это муж твоей матери… Пех! Эй, Пех!

— Чего? Пошел к черту!

— Иди сюда. Займись огнем.

Светила луна. Стояла синяя, ясная ночь. Издалека они увидели две фигуры на берегу пруда. Хмура подошел вплотную к сыну и посмотрел на него. Потом резким движением снял с себя шубу.

---

[41] Примечания: 41
Песья нога *(польск.)*

— Надень.

— Оставь себе. Вместе со всем остальным. Мне ничего от вас не нужно. У вас руки грязные.

— Пане Тадку, — рискнул вмешаться Валентий, — так ведь можно…

— Послушай, сынок, — перебил его Хмура, — я пришел сюда не для того, чтобы оправдываться. Но я все-таки скажу: польский крестьянин не на твоей, а на моей стороне. Что вы для него сделали? Ничего. Ваши геройства стоят ему расстрелов, отобранных урожаев, стертых с лица земли деревень. И если ему удается сохранить немного зерна или картошки, это лишь благодаря мне, а не вам. Потому что я не взрываю мостов: я просто слежу за тем, чтобы мои крестьяне не умирали с голоду. Я встал между ними и немцами, я забочусь о том, чтобы они не голодали и чтобы их не угоняли на запад, как паршивый скот. У поляков не будет своего государства? Ну и что из этого! Это все же лучше, чем государство, населенное мертвецами, где любой гражданин кажется долгожителем. Безнадежная борьба — очень красиво, но задача нации в том, чтобы выжить, а не красиво умереть… — Он топнул ногой. — Если бы мне показали десять польских ребятишек, и для того, чтобы их спасти, мне нужно было бы облизать

сапоги десяти немецким солдатам, я сказал бы: «К вашим услугам, господа!»

— Это все равно, что подружиться с туберкулезом, — сказал Тадек. — Ты словно говоришь мне: «Не борись с туберкулезом, Тадек! Будь хитрее! Договорись с ним! Попытайся завоевать его дружбу! Тебе нужны мои легкие, дорогой? Так возьми же их, они твои, дружище! Заходи, устраивайся поудобнее, чувствуй себя, как дома». Не сомневаюсь, что после этого я смогу спать спокойно: туберкулез будет так любезен, что пощадит меня.

— *Rany boskie!* — переспугался Валентий. — Экие речи…

Хмура повернулся к Добранскому.

— Вы погубили моего сына, — сказал он. — Вы прячетесь в лесу и ждете у моря погоды: вы никогда не смотрели немцу в лицо. Вам проще разыгрывать из себя робин-гудов. Но мой сын болен туберкулезом. Здесь он расстанется со своей жизнью, расстанется глупо и напрасно. Ему нужны горы и солнце. Вы упрекаете немцев в том, что они берут заложников, а сами взяли в заложники моего сына. Вы словно бы говорите: «Откажитесь помогать немцам, и мы вернем вам сына». Я хочу его спасти. Я хочу спасти своего

сына. Но, наверно, уже слишком поздно…

— Барин! — испуганно закричал Валентий. — Что вы такое говорите… Тьфу! тьфу! тьфу! — сплюнул он. — *Sila nieczysta*![42]

Хмура на мгновение задержал взгляд на сыне.

— Вернись, — сказал он.

— Сколько ты заработал на поставках зерна немецкой армии?

— Пане Тадек! — вздохнул Валентий.

— Если бы я не продал его немцам, они бы его отобрали, и мои крестьяне не получили бы ни гроша…

— Ты мог бы сжечь урожай!

— Тогда, — холодно сказал Хмура, — моих крестьян расстреляли бы, а их деревню сожгли… Да здравствует бунт, господин сын! — Он немного понизил голос: — Я больше не хочу, чтобы мои деревни стирали с лица земли, я не хочу больше горя. Ну, а ты поступай, как знаешь. — Он продолжил с горечью: — Каков отец, таков и сын… *Nie daleko pada jablko ed jabloni*[43]. Если у тебя хватает мужества погибнуть во имя своих идей, я готов потерять сына во имя своих.

---

[42] Примечания: 42
Нечистая сила! *(польск.)*

[43] Примечания: 43
Яблоко от яблони не далеко падает *(польск.).*

— Барин! — закричал Валентий. — А сердце, сердце-то что вам велит?

— Поступай, как считаешь нужным, Тадек. Но помни, что в наше время во всех странах Европы зрелые люди думают так же, как я, а их сыновья бросаются под пули, чтобы иметь удовольствие написать на стенах уборной: «Да здравствует свобода!» В каждой стране старики защищают свою нацию. Они умнее. Самое главное — это не флаг, не граница и не правительство, а плоть и кровь, пот и материнская грудь. Запомни, мертвецы не поют *«Jeszcze Polska nie zginiela*!».[44] — Он сказал: — Я ухожу. Ты пойдешь со мной? Завтра я отправлю тебя в Швейцарию.

— Янек, проводи его!

Хмура повернулся к нему спиной и зашагал быстро, не оборачиваясь. Старик Валентий семенил следом, поминутно останавливаясь, оглядываясь на Тадека и в отчаянии разводя руками.

— Барин, вы не можете его там оставить… Езус, мальчик болен. Просто сердце кровью обливается!

Хмура остановился.

---

[44] Примечания: 44
Польский национальный гимн.

— Довольно! — приказал он. — Ничего не поделаешь. Ты думаешь, что я изверг, что я ничего не чувствую? Что я могу тебе сказать? Ничего не поделаешь. Он узнал все, что хотел. Он упрям. Моя порода. Он будет идти до конца. И потом, я уже говорил тебе, лучше иметь мертвого сына, но своего, чем целый выводок живых ублюдков…

Внезапно терпение старого слуги лопнуло.

— Убийца! — вдруг закричал он тоненьким голоском. — И тебе не стыдно? Будь жив твой отец, он бы плюнул тебе в лицо. Наверное, мать родила тебя от пьяного конюха!

— Можешь остаться с ним, — процедил Хмура сквозь зубы.

— *Zeby ci sie krew zalala!* Чтоб ты кровью залился! Ты думаешь, я бы не остался, если бы был моложе лет на пятьдесят? Давно уж я не плевал тебе под ноги… Так говорить со мной! Давно я тебя не колотил, *paskudo*.[45]

Они еще долго слышали его голос, выкрикивавший проклятия, удаляясь в ночи.

---

[45] Примечания: 45
Польское ругательство.

18

Вслед за первым снегом пришли сильные морозы. Янек и Зося почти не выходили из землянки. Отныне их жизнь сводилась к немногому: дрова, огонь, кипяток, пара картофелин, сон. Янек заявил Черву:

— Зося больше не пойдет в Вильно.

Черв как раз чинил сапог. Он сказал, не поднимая головы:

— Я знаю.

— Она живет со мной.

— Хорошо.

Вот и все. Ни удивления, ни досады. Добранский дал Янеку несколько книг: Гоголя, Сельму Лагерлёф.[46] Янек часто читал Зосе вслух. Потом спрашивал:

— Тебе нравится?

— Мне нравится твой голос.

Ложились они рано. Иногда, запасшись дровами на несколько дней, вставали только затем, чтобы подбросить их в огонь. День был похож на

---

[46] Примечания: 46

Сельма Оттилиана Ловиза Лагерлёф (1858–1940) — шведская писательница, лауреат Нобелевской премии. — *Прим. пер.*

ночь, и время перестало для них существовать. Бывало, проснувшись и выглянув наружу, они обнаруживали, что на дворе ночь.

— Сколько сейчас времени?

— Не знаю. Иди сюда. Давай ляжем.

Оставалось еще четыре больших мешка картошки: на зиму должно было хватить. Беспокоил их только огонь. Обернув руки тряпьем, они ходили за хворостом, приносили его в землянку и уходили снова. По девственному снегу ползали взад-вперед два черных муравья, волоча свои смешные веточки… Потом они возвращались в нору, разжигали огонь и грелись. Говорили мало. Их тела, укутанные в груду одеял, прижимались друг к дружке и выражали чувства красноречивее слов. Иногда Зося спрашивала:

— Ты думаешь, это когда-нибудь кончится?

— Не знаю. Отец говорил, все зависит от исхода битвы.

— Какой битвы?

— Сталинградской.

— О ней все говорят. Даже немцы в Вильно.

— Да, все.

— Она все еще продолжается?

— Днем и ночью.

— А что сделают наши друзья, когда выиграют

эту битву?

— Построят новый мир.

— Мы не сможем им помочь. Мы еще маленькие. А жаль.

— Дело не в возрасте, а в мужестве.

— Каким он будет, этот новый мир?

— Это будет мир без ненависти.

— Тогда нужно будет убить много людей…

— Да, нужно будет убить много людей.

— А ненависть все равно останется… Ее станет даже больше, чем раньше…

— Тогда их не будут убивать. Их будут лечить. И кормить. Для них построят дома. Им подарят музыку и книги. Их научат доброте. Если они научились ненависти, их можно будет научить доброте.

— Ненависти не разучиваются. Это как любовь.

— Я знаю, что такое ненависть. Меня научили немцы. Я научился ей, когда потерял родителей, когда мерз и голодал, жил в землянке и знал, что, если меня встретит немец, он не предложит мне своего котелка, не уступит мне места возле костра и угостить меня сможет только пулей. Ведь у немцев есть пули для всего. Для груди и для надежды, для красоты и для любви… Я ненавижу их!

— Не надо. Когда у нас будут дети, мы научим их любить, а не ненавидеть.

— Мы научим их и ненавидеть тоже. Мы научим их ненавидеть низость, зависть, насилие, фашизм…

— Что такое фашизм?

— Я точно не знаю. Это особый вид ненависти.

— Наши дети никогда не будут голодать. Они никогда не будут замерзать.

— Никогда.

— Обещай мне.

— Обещаю тебе. Я сделаю все, что смогу.

По ночам они часто просыпались от неумолчного воя: по лесу рыскали голодные волки, и утром Янек находил их следы возле землянки. Лес обнажился и побелел. По снегу блуждали вороны и подолгу каркали. Снег полностью завладел лесом, и на его белизне люди все больше походили на черных муравьев, волочащих в свои норы смешные веточки, — настойчивых, шатающихся, измученных холодом. Отныне вся их жизнь была направлена к единственной цели: поддержать огонь. В городах захватчики ждали лета, чтобы отправиться на новые завоевания, а в лесах человеческая надежда слабее луча зимнего солнца упорно не хотела умирать. Люди больше

не интересовались городскими новостями и не разговаривали, их лица морщились от холода и становились такими же заскорузлыми, как старые деревья. Только изредка из деревни возвращались братья Зборовские, подносили к огню свои руки с задубевшими от холода пальцами и говорили кратко:

— Они еще держатся.

19

В один из таких морозных дней, когда сердца людей и зверей понемногу цепенели, а жизнь ждала лишь таинственного знака, чтобы остановиться, умер Тадек. Он умер ночью, во сне, лежа у огня, и даже молодая женщина, сжимавшая его в объятиях, не заметила его ухода. Накануне он почувствовал себя лучше. Он перестал кашлять, температура у него спала. Он попросил Добранского прочитать ему отрывок из книги.

— Не стоит, — сказал Добранский. — Попробуй немного поспать.

— Сегодня я хорошо себя чувствую. Кто знает, Адам, может, я скоро смогу совершать вылазки на дороги?

— Вполне возможно.

— Весной мы будем делать налеты на немецкие колонны… Правда?

— Да. Весной.

— Нужно изо всех сил помогать людям, сражающимся под Сталинградом.

— Изо всех сил. Не двигайся, Тадек.

— Мне хорошо. Адам, почитай мне что-нибудь.

— Что же ты хочешь, чтобы я тебе прочел?

— Сказку.

— Хорошо. Не говори много. А то начнешь кашлять.

— Сказку, героем которой буду я. Волшебную сказку, в конце которой я умру, но не от туберкулеза, а в бою.

— С удовольствием. Только лежи спокойно. Положи голову сюда… вот. Я расскажу тебе одну историю.

— Начинай…

— Сейчас, сейчас…

Польский летчик-истребитель Тадек Хмура умирает. Он лежит на спине в траве, в глубине густой английской рощи. Его разбитый самолет валяется в нескольких шагах от него: крылья сломаны, а винт глубоко вошел в землю, словно меч. Его сломанный позвоночник не чувствует боли, и тело кажется ему чужим. «Проклятое тело!» — печально думает он с любовью хозяина к своему верному псу. Его взгляд начинает туманиться…

— Это называется волнующей минутой, — прошептал Тадек.

Но вдруг он замечает, что кусты перед ним шевелятся, и из-за шелковицы высовывается глупая физиономия Пеха. Пех смотрит на Тадека

с отвращением, язвительно гогочет и выходит из кустов с бутылкой виски в руке…

— Если бы это было правдой! — пробормотал Пех.

— Замолчи…

В этом появлении есть что-то неожиданное. Тадек это хорошо чувствует, но в своем нынешнем состоянии не может сосредоточиться и определить, что именно. Впрочем, аэродром находится всего в нескольких милях отсюда, и там должны были видеть, как его самолет упал в лес. Пех склоняется над Тадеком и подносит к его губам горлышко бутылки. Тадек пьет и понимает, что виски, как и прежде, пить приятно. Затем он видит, как из зарослей появляется его товарищ по эскадрилье Адам Добранский. Добранский ведет себя очень некрасиво. Он смотрит на запутавшееся в парашюте тело с глубоким отвращением.

— Как колбаса! — заявляет он, усаживаясь в траву. — Передай мне виски. Ну что, сбили?

Тадек оскорбительно бурчит что-то в его адрес и, в свою очередь, требует бутылку. Он понимает, что никому до него нет дела. И продолжает умирать.

— Тихо! — прошептал Пех. — Он спит.

Тадек открыл глаза.

— Я не сплю. Продолжай.

Он умирает, его жалкое, беспомощное тело лежит на земле, а его лучшие друзья делают вид, что все это — сущие пустяки. Он, конечно, не требует от них, чтобы они рыдали и рвали на себе волосы, но можно было хотя бы не напиваться.

— Могли бы, по крайней мере, обнажить головы, — с достоинством подсказывает он им. — Не стесняйся, Пех. Если устал пить стоя, можешь усесться на меня, — добавляет он трагическим тоном.

К его громадному удивлению, Пех тотчас садится к нему на живот, сжимая в руке бутылку. Но Тадек не чувствует его веса. Напротив, у него такое ощущение, будто он наблюдает за всем со стороны, словно это запутавшееся тело больше не принадлежит ему.

«Все обстоит гораздо хуже, чем я думал», — думает он, впадая в уныние.

— Даже не пытайтесь меня ободрить! — храбрится он. — Я знаю, что со мной!

— А ты думал, у нас еще остались какие-то иллюзии? — говорит Пех. — *Cheers*![47] — Он пьет. — Если ты видел, как гибнет дело всей твой

---

[47] Примечания: 47
Твое здоровье! *(англ.)*

жизни… — декламирует он.

— Я? — стонет Тадек. — Киплинг?

— Да. Если ты видел, как гибнет дело всей твоей жизни… Старина Киплинг! Я дам тебе почитать его стихи о Сталинграде… По его собственному признанию, это лучшее, что ему довелось написать. Какой пыл! Какое воодушевление! Попался, Ганга Дин?[48] *Cheers…*

— *Cheers,* — отвечает Тадек, — превосходное виски. Возвращает любовь к жизни…

Это заявление немедленно вызывает у его товарищей приступ бурной радости. Бутылка быстро обходит еще несколько кругов.

— Как Яблонский? — спрашивает Тадек.

— Так же, как и мы, — говорит Пех. — Ушел из эскадрильи. — Он осушает стакан. — Мы нынче в свободном полете, — поясняет он.

— А Черв? Я видел, как он врезался в одного боша над Северным морем… Я был в двухстах метрах сзади и видел, как оба самолета спикировали в воду.

— Угу, — подтверждает Пех, — Черв упал прямо в ледяную воду и поплыл, как поплавок. «Брр…» — фыркал он на чистейшем польском. «Брр…

---

[48] Примечания: 48

Аллюзия на стихотворение Редьярда Киплинга «Ганга Дин» (1890). — *Прим. пер.*

брр…» — внезапно услышал он за соседней волной. Черв поворачивает голову и видит боша, который плывет рядом с ним и смотрит на него своими идиотскими глазами. Чтобы согреться, они начинают обмениваться оскорблениями: «Т… т… ты утонешь, д… др… дружище! — шепчет Черв по-немецки с ликующим видом. — С… с… спасательный пояс не вечный. Т… т… тебе капут». «Брр…» — печально отвечает ему бош. — «Т… ты… ты стучишь зубами?» — ликует Черв. «Й… й… я? — хрипит бош. — М… м… мне так нравится. Эт… то п… приятно!» — «Оч… чень приятно! — соглашается Черв. — Н… н… ни за что н… н… на свете н… н… не хотел бы оказаться г… г… где-нибудь в д… др… другом месте!» «Брр…» — дрожат они хором, поглядывая друг на друга краем глаза. — «И… и… я двадцать раз б… б… бомбил Варшаву!» — радостно хрипит бош. «К… к… кё…» — спокойно отвечает ему Черв. «К… кого?» — с недоверием переспрашивает другой. «Кё… Кёльн, — договаривает Черв. — Ха-ха-ха!..» «Брр…» — мрачно фыркает бош. Через час он начинает слабеть. «Н… ну, давай, — шепчет он. — Тони… И дело с концом…» «Т… т… только после вас», — шепчет Черв. «И… и… и не мечтай!» — возражает бош и начинает захлебываться. Черв выигрывает очко.

«Т… ты захлебываешься! — ликует он. — А я, с… смотри… Я… я просто ныряю в с… свое удовольствие». Он на время исчезает под водой и снова поднимается на поверхность. «А? — хрипит он, еле живой. — Ш… что ты на это с… с… скажешь?» Бош отчаянно смотрит на него, стискивает зубы и ныряет. «Он оказался круглым ослом, — с восхищением рассказывал мне потом Черв. — Я сосчитал до десяти и признал его побежденным. А потом потерял сознание…» Когда мы подняли его со дна, он был пропитан водой, как губка. Передай мне бутылку.

Тадек блаженно вздохнул. Он счастлив. Он изрядно выпил, и голова немного кружится, но он снова нашел своих товарищей, и, как в былые времена, они вместе отправятся в бой.

— Мы им покажем! — кричит он. Вдруг начинает петь во весь голос:

Jak to na wojence ladnie
Kiedy pilot z'nieba spadnie…[49]

— Гляньте на этого пьянчугу! — ворчит Пех с отвращением. — Клянусь, нам придется нести его на самый верх…

Они берут его под руки, поднимают…

---

[49] Примечания: 49
Польская походная песня.

Koledzy go nie zalua?
Jeszcze butem potraktua… —
поет Тадек.

Вдруг он обо что-то спотыкается… Наклоняется. В траве лежит безжизненное тело пилота в шлеме, запутавшегося в парашюте. Рядом — обломки самолета.

— Кто это? — удивляется Тадек.

— Не обращай внимания, — говорит Пех. — Просто переступи…

…Они тащат его за собой.

Добранский умолк. Партизаны сидели неподвижно, склонив головы. Один только Пех выругался сквозь зубы, а потом, выйдя из землянки, сказал Янеку:

— Рождаемся мы или умираем, они рассказывают нам сказки. У них всегда наготове свежая. Только этому они и научились за тысячи лет…

Тадек Хмура улыбался, и молодая женщина с закрытыми глазами — темные волосы ниспадают на плечи, лицо безмятежно, несмотря на следы слез, — нежно гладившая его по голове, навсегда осталась в памяти Янека, словно фигура на носу корабля, которую не скроет ни одна ночь и не смоет ни один шторм.

Позже, гораздо позже, когда партизанские бер-

логи в польском лесу стали местами поклонения, куда целый народ приходил поминать своих героев, и когда от Ванды Залевской, замученной и казненной немцами, осталось только имя, вырезанное на бронзовой дощечке рядом с именем Тадека Хмуры у входа в святилище, это лицо оставалось для Янека таким же живым, как слова его отца о том, что «ничто важное не умирает», и всякий раз, когда он вспоминал их, ему казалось, что отец ему лгал.

Тадека Хмуру похоронили в лесу, под снегом. И даже не пометили места. Студент часто повторял им:

— Запомните, никаких меток, никаких имен.

— Почему?

— Из-за отца.

Они молча смотрели на него.

— Я не хочу, чтобы он нашел меня.

20

Иногда Черв посылал Янека в Вильно к старому сапожнику, работавшему в одном из полуподвалов Завальны. Это был высокий, угрюмый человек с длинными усами средневекового *szlachcic*'а [50].

— Скажешь ему, что у меня все нормально, — говорил Черв.

Когда Янек спускался в полуподвал, сапожник бросал на него быстрый взгляд и вновь принимался за работу. Вначале такой прием смущал Янека, но потом он привык. Он заходил в мастерскую, снимал фуражку и говорил:

— У него все нормально.

Сапожник ничего не отвечал, и Янек уходил. В конце концов он все же спросил Черва:

— Кто он?

— Мой отец.

Возвращаясь после одного из этих странных визитов, Янек проходил мимо Погулянки. Перед домом, где когда-то жила панна Ядвига, он остановился. Взглянул на ворота и, не задумываясь,

---

[50] Примечания: 50
Дворянина *(польск.).*

вошел, пересек двор и поднялся на второй этаж… Ему стало страшно. Сердце бешено билось. Ему захотелось убежать. За дверью играли на рояле. Янек узнал мелодию. Это был Шопен: та самая пьеса, которую ему так часто играла панна Ядвига… Он успокоился и долго слушал, спрятавшись в темноте, но, как только музыка умолкла, к нему вернулся страх, и он убежал. В лесу он никому об этом не сказал, но у него было тревожно на душе.

— Что случилось? — спросила Зося.

— Ничего.

На другой день он снова пришел в Вильно точно в такое же время. Он слушал… Это был не Шопен, а какая-то другая, очень красивая мелодия… Он уже не боялся. С тех пор всякий раз, навещая старого сапожника, на обратном пути он проходил через Погулянку и на темной лестнице слушал невидимого музыканта.

— Он так хорошо играет, — часто рассказывал он Зосе, вздыхая. — Я так люблю музыку…

— Больше, чем меня?

Он целовал ее.

— Нет.

На следующее утро Зося куда-то исчезла и вернулась только к вечеру с сияющим лицом.

— У меня подарок для тебя.

— Какой?

— Тебе понравится.

Она засмеялась.

— Закрой глаза.

Он повиновался. Вначале он услышал скрип и ужасный треск, а потом хриплый, вульгарный голос завыл:

Czy pani Maria

Jest grzechu warta…[51]

Треск непрерывно сменялся скрипом и воем.

— Музыка! — с гордостью сказала Зося. — Для тебя!

Он раскрыл глаза. Она улыбалась, радуясь тому, что доставила ему удовольствие.

— Янкель нашел ее у одного еврея в лесу…

Янеку хотелось наброситься на фонограф и разбить пластинку… Но он сдержался. Не хотел огорчать Зосю. Он молча терпел.

— Красиво, правда?

Она снова завела фонограф.

Czy pani Maria…

Он осторожно остановил аппарат. Потом взял револьвер и засунул его под гимнастерку. Он

---

[51] Примечания: 51

Ради пани Марты не грех и согрешить!.. *(польск.)*

сказал:

— Идем.

Она встала. Ни о чем не спрашивая, она пошла за ним. Они вышли из землянки. На лес опустились сумерки, воздух был неподвижным и ледяным, снег хрустел под ногами. Они не разговаривали. Только один раз она спросила:

— Мы идем в Вильно?

— Да.

Они добрались до города ночью. Улицы были пустынны. Янек пересек двор, поднялся по лестнице… Зося шла за ним. Она держала его за руку, крепко сжимая ее…

— Слушай.

Из-за двери слышались звуки рояля. Янек вынул из кармана револьвер. Зося сказала только:

— Это опасно.

Он постучал в дверь. Музыка умолкла. Зашаркали старые туфли, в замке повернулся ключ, и дверь отворилась. Человек держал в руке лампу с желтым абажуром. Янек одну секунду смотрел на рисовые поля, пагоды и черных птиц… Затем перевел ненавидящий взгляд на лицо человека. Пожилой седеющий мужчина. У него был длинный, красный нос с прицепленными к нему никелевыми очками, грозившими вот-вот

упасть. Он смотрел на Янека поверх очков, слегка склонив голову набок. На нем был старый выцветший халат зеленого цвета, на шее — толстое кашне. Похоже, он был простужен. Он говорил по-польски с сильным акцентом:

— Что вы…

Его взгляд остановился на револьвере. Он поднял руку и поправил очки на носу. Ни испуга, ни удивления. Он широко раскрыл дверь и сказал:

— Входите.

Зося закрыла за собой дверь. Старик чихнул и шумно высморкался. Вздохнул и сказал:

— Бедные дети!

Янек крепко сжимал револьвер в руке. Он не боялся. Он знал, что старик его не разжалобит. Он вспоминал панну Ядвигу… Его не разжалобить.

— Деньги у меня в куртке. Ты пришел вовремя, сынок. Я только что получил свое капитанское жалованье. — Он засмеялся. — Оно твое.

Янек посмотрел на пагоды, рисовые поля и птиц на желтом абажуре… У него сжалось сердце.

— Я никому не скажу, — дружески произнес старик. — Я не хочу, чтобы тебя расстреляли, сынок. Они и так многих расстреливают.

Он вынул бумажник из кармана куртки и протянул его. Янек не взял. Человек остолбенел.

— Может, ты голоден? На кухне есть…

— Я не голоден.

Человек побледнел, как полотно. Он сказал хрипловатым голосом:

— Понимаю. Ты жил здесь раньше? Понимаю. Но я тут ни при чем. Мне дали эту квартиру, я ничего не требовал. Конечно, я доволен, из-за рояля. Но я не выгонял отсюда твоих родителей, сынок.

Лампа дрожала у него в руке. Пагоды, птицы и рисовые поля блуждали по стенам огромными тенями.

— Может быть, их убили? Я не знал. Я бы не взял эту квартиру…

— Играйте! — приказал Янек.

Человек не понял.

— Идите к роялю и играйте!

Человек поставил лампу на рояль и сел. Руки у него дрожали.

— Что же мне сыграть? У меня здесь есть Шуберт…

— Играйте.

Человек заиграл. Но его руки слишком сильно дрожали.

— Играйте лучше! — закричал Янек.

— Опусти револьвер, сынок. Не очень-то приятно чувствовать его у себя за спиной.

Он принялся играть. Он играл хорошо. «Да, — с грустью подумал Янек, — он умеет играть». Он взял Зосю за руку.

— Слушай. Вот это музыка.

Зося прижалась к нему.

— Теперь Шопена, — сказал Янек.

…Когда он вернулся на землю, то увидел, что человек стоит возле рояля и смотрит на него.

— Я мог бы разоружить тебя, сынок. Ты забылся.

Янек нахмурил брови.

— Уходи, — сказал он Зосе.

— А ты?

— Я останусь здесь, чтобы он не позвал…

— Я никого не позову, — сказал человек.

— Иди. Не бойся. Встретимся в лесу.

Она повиновалась.

— Хочешь, чтобы я тебе еще поиграл? — спросил немец.

— Да.

Старик сыграл Моцарта. Он играл около часа, по памяти. Закончив, спросил:

— Ты очень любишь музыку?

— Да.

— Ты можешь приходить сюда часто. Тебе нечего бояться. Я буду счастлив играть для тебя,

сынок. Хочешь поужинать со мной?

— Нет.

— Как хочешь. Меня зовут Шредер, Аугустус Шредер. В мирное время я делал музыкальные игрушки. — Он вздохнул. — Я очень люблю свои музыкальные игрушки. Больше, чем людей. А еще я очень *люблю* детей. Я не люблю войну. Но мой сын, которому столько же лет, сколько тебе, очень любит войну… — Он пожал плечами. — Мне нужно было уехать или потерять своего ребенка. Но я служу интендантом, и у меня даже нет винтовки. Мы могли бы подружиться, сынок.

— Нет, — сказал Янек. Он запнулся. — Но я еще вернусь.

— Я с радостью поиграю для тебя.

Янек ушел. Зося ждала его в землянке.

— Я так боялась за тебя!

— Ну как? — спросил Янек. — Красиво, правда?

Она опустила голову с виноватым видом. Внезапно она расплакалась.

— Зося!

Она громко рыдала, как побитый ребенок.

— Зося! — взмолился он. — Зосенька… Что с тобой?

— Некрасиво, — рыдала она. — Совсем, совсем некрасиво!

— Зося…

Он обнял ее. Прижал к груди.

— Ты больше не любишь меня!

— Нет, я люблю тебя, люблю… Не плачь, Зосенька!

— Ты любишь свою музыку больше, чем меня… Господи! Как я несчастна!

Он не знал, что ответить. Он прижимал ее к себе. Он гладил ей волосы. И повторял:

— Зося, Зосенька.

21

Янек несколько раз приходил к Аугустусу Шредеру. Тайком, стыдясь самого себя: он мучился так, словно бы совершал предательство. Поначалу он все время был начеку, сжимал в кармане револьвер и подозрительно следил за движениями немца. Но Аугустус Шредер сумел внушить ему доверие. Он показал Янеку фотографию сына: молодого человека с угрюмым лицом, в гитлеровской форме.

— Он твоего возраста, — сказал он печально. — Но не любит музыки. Ему не нравятся мои игрушки.

Игрушки он тоже показал: фигурки гномов и немецких бюргеров прошлого, изготовленные с большим мастерством.

— Я смастерил почти всех персонажей сказок Гофмана и братьев Гримм, — пояснил он с детской гордостью. — Я люблю прошлое… Я люблю Германию флейтистов и дудочников, ночных колпаков и нюхальщиков табака, длиннополых сюртуков и белых париков… — Он улыбнулся. — В те времена людоеды жили только в сказках, они

были славными малыми и никого не ели; больше всего на свете любили свои домашние тапочки, трубку у камина, кружку пива да добрую партию в шахматы…

В каждую игрушку был встроен механизм: достаточно было нажать на кнопку, и фигурка оживала, совершая поклон или балетное па под ясные звуки мелодичного аккорда.

— Я никогда не делал оловянных солдатиков, даже для сына, — говорил Аугустус Шредер.

Он садился за рояль и играл. Больше всего он любил *Lieder*[52] и играл их восхитительно. Янек чувствовал, что эти мелодии как нельзя лучше выражали душу старика, его мечты, его былую любовь… Он с наслаждением слушал эту нежную и печальную музыку. Однажды он спросил:

— Вы правда немец?

— Да. И побольше этих… — Он махнул рукой на окно: по улице с грохотом проезжали танки. — Я — последний немец.

Он долго жил в Кракове и хорошо знал польский язык. Он не осмеливался заговорить с Янеком о его родителях. Однажды он робко спросил:

— Где ты живешь?

---

[52] Примечания: 52
Песни *(нем.)*.

— В лесу.

— Хочешь жить у меня?

— Нет.

Аугустус Шредер немного ссутулился и больше не настаивал. Он подарил Янеку одну из своих игрушек. Баварского бюргера в ночном колпаке: он улыбался, нюхал табак, чихал и удовлетворенно качал головой под звуки: *«Ach, mein lieber Augustin»*.[53] Янек повсюду носил эту фигурку с собой. Он показал его Зосе. Часто, сидя в землянке, они оба громко хохотали, наблюдая, как старичок нюхал табак и чихал…

«Ach, mein lieber Augustin, Augustin, Augustin…» — несколько раз играло у него внутри. И человечек с глубоким удовлетворением качал головой.

---

[53] Примечания: 53

Ах, мой милый Августин *(нем.)*.

22

Однажды в пятницу вечером Янкель Цукер начистил сапоги, вымыл бороду, обвернул молитвенник шелковым талесом и ушел. Партизаны доброжелательно смотрели ему вслед. Один только Махорка проворчал:

— Еврей не любит молиться в одиночку. Боится остаться один на один со своим Богом.

Янкель шел быстрым шагом: он опаздывал. Каждую пятницу он отправлялся в пригород Вильно Антокол и заходил на развалины старого порохового склада… Этот пороховой склад служил прятавшимся в лесу евреям временной синагогой и местом собраний: при отступлении в сорок первом русские взорвали его, но некоторые подземные помещения почти не пострадали. Добраться до них было нелегко, и никто туда не спускался, за исключением верующих, уцелевших во время погромов. Их осталось немного, и паролем их была осторожность. Сначала в развалины спускался бродяга Цимес, осматривал помещения — обычно там ютились одни лишь летучие мыши да голодные крысы, — а потом

пронзительно свистел: тогда верующие один за другим молчаливо и робко входили на пороховой склад… Янкель немного опоздал. Под землей Цимес с торжествующим видом установил лампу, украденную накануне на главном вокзале Вильно. Пришло уже около десяти человек, худых и нервных, их длинные трагические руки дергались. Сема Капелюшник, старый торговец фуражками с Немецкой улицы, был за певчего. Надвинув шапку на глаза, он бил себя в грудь и покачивался; его губы шевелились, а голос порой взлетал до длинной напевной жалобы, потом вновь понижался, и только губы его продолжали безмолвно шевелиться… Он никогда не смотрел в лежавший перед ним молитвенник и бегал полными страха глазами по лицам верующих, по темным закоулкам и каменным стенам. Он вздрагивал от малейшего шума, резко замирал и прислушивался: и только его побелевшие губы продолжали шептать, а его кулак, на мгновение повисший в воздухе, машинально ударял во впалую грудь. Евреи молились: слышалось непрерывное бормотание одного и того же тембра, а затем вдруг из чьей-то груди вырывался долгий плач, долгая жалоба, наполовину пропетая, а наполовину произнесенная, как бы

отчаянный вопрос, обреченный вечно оставаться без ответа. Тогда другие верующие повышали голос, озвучивая этот трагический вопрос, этот проникновенный плач, а затем голоса снова становились тише и переходили на шепот.

— *Lchou nraouno ladonainorio itsour echeinou*[54]! — рыдал Сема. — *Chma izrael adonai…* Кто-нибудь остался снаружи, на карауле?

— Цимес, — быстро сказал один из верующих, вперив глаза в Писание и ударяя себя в грудь. — Цимес остался… *Chma izrael adonaieloheinou adonaiecho!*

— *Boruch, chein, kweit, malchuze, loeilem, boet…* — благоговейно пропел голос Цимеса. — Я здесь, ребе. Я хочу молиться, как все!

— *Arboim chono okout bdoir vooimar!* — пробормотал певчий, покачиваясь. — Так кто-нибудь остался снаружи или нет?

— *Arboim chono okout bdoir vooimar!* — запричитал Цимес, чтобы не компрометировать себя.

— *Adonaiechot!* — завыл певчий, целуя кончик талеса и зверски ударяя себя в грудь. — Значит, никто не остался на карауле? *Arboim chono okout…*

---

[54] Примечания: 54
Еврейская молитва.

Говорю же вам, что это нехорошо; нужно, чтобы кто-то вышел наружу и встал на карауле! *Arboim chono okout…*

— Вы уже пропели это трижды, ребе! — грубо перебил его молодой Цимес.

— *Bdoir vooimar!* — закончил Сема. — Не надо мне указывать, что я должен делать!

— Зачем мы пришли сюда — молиться или спорить? — сердито вмешался маленький рыжеватый еврей.

— Не надо мне напоминать, зачем мы сюда пришли! — огрызнулся певчий. — *Chiroum ladonaichir chadoch!*

— *Chirou ladonai.*

— *Oi, chirou ladonai!* Пойте, пойте новую песнь пред Господом! Каминский, выйди и встань на карауле.

— *Oi, chirou ladonai!* — тотчас же откликнулся Каминский с горящими от восторга глазами. Это был бородатый еврей-великан, бывший извозчик из Вильно.

— *Ladonaichir chodoch!* — пробормотал певчий. — Каминский, я что тебе сказал? Я тебе сказал: выйди и встань на карауле!

— *La… a… adonaichir chidoch!*

— Каминский, я тебе сказал…

— Не приставайте ко мне! — вдруг заревел великан, и его глаза налились кровью. — Когда ко мне пристают, я начинаю сердиться! А когда я сержусь… *Chirou ladonaichir chodoch!*

— *Boruch, chein, kweit, malchuse, loeilem, boet!* — быстро пропел певчий. — Я буду смеяться, когда нас всех перестреляет патруль!

— *Adonaiechot!*

— Я буду смеяться, когда нас всех перестреляет патруль, *oi,* как же я буду смеяться! *Chma izrael adonai!*

— Я буду смеяться, когда нас… тьфу! — сердито сплюнул Каминский. — Капелюшник, ты сбиваешь меня! Ты что, не можешь спокойно читать свою молитву?

— Как вы хотите, чтобы я спокойно читал свою молитву, если повсюду рыщут злодеи, готовые перерезать нам горло, а никто не стоит на карауле? *Lefnei adonaiki vo michpoit gooret*! Как же вы хотите?

— *Vo michpoitgooretz!* Тебе везде злодеи мерещатся! *Kivo, kivo, adonaikivo…* Встаньте, встаньте пред Господом!

— *Adonaikivo; chma izrael adonai…* Что я слышал?

— Ничего ты не слышал, ребе!

—

Я что-то слышал. *Chma izrael adonaieloheinou…*

— *Adonaiechot… Oi…* Что это было? Не пугайте меня, ребе… У меня жена на седьмом месяце, беременных нельзя пугать. *Molchem booilem boit!* Могут быть преждевременные роды.

— Могут быть пр… тьфу, тьфу, тьфу! — снова ошибся Каминский. — Я с вами с ума сойду! *Molchem booilem boit!*

После моления евреи вышли в ночь и разбрелись по лесу. У выхода Янкель встретился с Каминским.

— Ну что?

— Грузовик каждый день проезжает по дороге вдоль Вилейки. Обслуживает одиночные посты. Я видел боеприпасы, оружие…

— Охрана?

— Обычно три человека, не считая шофера. Один в кабине и двое в кузове… Ни о чем не догадываются.

— Во сколько?

— В четыре грузовик проезжает большую излучину Вилейки: там сильный наклон метров на пятьсот. Самое подходящее место.

Они расстались. Янкель ушел в ночь.

23

— Гм…

Черв окинул свой маленький отряд критическим взглядом.

— Марш!

Тронулись. Они шли гуськом, с Червом во главе. У него была странная манера носить винтовку: ремень через шею, а ружье поперек груди. Он опирался на него обеими руками. Благодаря платку на голове, со спины он был похож на матушку с ребенком на руках. Крыленко шел с трудом, волоча ногу. Его лицо кривилось от боли…

— Ревматизм! — с грустью объяснял он Янеку.

Махорки не было: в Пясках рожала женщина, и уже два дня он бродил вокруг хутора, бормоча молитвы. На поясе у Янкеля висела связка гранат. Станчик спрятал в рукав нож: это было его единственное оружие… Трое братьев Зборовских были экипированы лучше всех: у каждого немецкая винтовка, штык, маузер и полный патронташ. Безоружный пан меценат рысил перед Янеком. В огромной шубе, вечно вонявшей мокрой собакой, у него был нелепый, смешной вид. Он то

и дело останавливался и бегал в кусты: у него было расстройство кишечника. Потом догонял их в изнеможении и бормотал извинения. Так он прошел половину пути и в конце концов, измотанный и ноющий, остался где-то в чаще. Янек замыкал колонну. Они прибыли к излучине Вилейки заблаговременно и расположились по обе стороны дороги. Двое старших братьев Зборовских встали на вершине холма, как раз у того места, где водитель грузовика должен был переключить скорость перед спуском. По ту сторону Вилейки садилось солнце, снег был твердым и гладким: под скупыми лучами солнца он превратился в плотную массу. Они ждали больше получаса, лежа на снегу. Чувствуя, как замерзают внутренности, Крыленко вскочил и выругался.

— Лежать! — приказал Черв.

— Хочешь, чтобы я отморозил себе?… — возразил Крыленко.

Черв мигнул глазом.

— Он меня оскорбляет! — возмутился старик.

— Я не нарочно, — сказал Черв. — Это нервный тик. Не кричи.

Они услышали гул мотора. Услышали, как шофер переключил скорость. Из-за поворота появился грузовик и начал взбираться на гору.

Это давалось ему с трудом. Наверное, был тяжело гружен. Янек увидел бледное, оглушенное лицо водителя: видимо, устал от холода и шума. Рядом с ним дремал другой немецкий солдат. То был трехтонный, крытый брезентом грузовик. В кузове запел чей-то голос:

Ich hatt'einen Kameraden…[55]

Хор голосов подхватил:

Ich hatt'einen Kameraden,

Einen besserenfind'st du nicht…

Черв лежал ничком на снегу. Крыленко прошептал:

— Если Зборовские их атакуют, нам крышка.

Грузовик выехал на вершину холма, и они увидели два ряда немецких солдат, сидевших друг напротив друга с винтовками на коленях.

Ich hatt'…

Грузовик заскрежетал, сделал последнее усилие и исчез за склоном. Двое Зборовских перешли через дорогу и возвратились к ним.

— Правильно сделали, — сказал Черв. — Завтра начнем сызнова.

Когда они вернулись на следующий день, Черв взял Янека и поставил его у подножия холма.

---

[55] Примечания: 55
Немецкая походная песня.

— Свистеть умеешь?

— Да.

— Грузовик поворачивает здесь. Когда он будет проезжать мимо, заглянешь в кузов. Если там будет меньше шести человек, свистнешь. Все понял?

— Да.

— Повтори.

Янек повторил. Черв ушел, а Янек спрятался в кустах. Вновь солнце зашло за горизонт. Янек услышал гул мотора. За рулем был тот самый шофер, и тот самый солдат спал на соседнем сиденье. Грузовик повернул и начал подниматься в гору. Янек раздвинул кусты и посмотрел. В кузове на ящике сидел один человек. Похоже, дремал. Янек пристально смотрел на него пару секунд. Это был старый Аугустус Шредер. Грузовик заревел… «В кузове один человек», — подумал Янек. Нужно свистнуть. Он вставил два пальца в рот. На ящике тряслось большое, худое тело немца, упиравшееся подбородком в грудь. Руки были скрещены. Один человек… Раздался короткий, пронзительный свист. Грузовик как раз выехал на вершину холма. Янек увидел, как с разных сторон дороги выскочили два черных силуэта, четко выделяясь на фоне красного неба. Он услышал

два выстрела, и в тот же миг грузовик остановился. Он увидел, как Аугустус Шредер выпрыгнул из кузова и побежал сломя голову, размахивая длинными руками, похожими на лопасти ветряной мельницы. Тогда Янек вышел из кустов и побежал навстречу ему, крича:

— Не стрелять!

Он услышал третий выстрел. Когда он добежал до грузовика, Аугустус сидел на земле, опираясь о колесо и держась за живот. Никто не обращал на него внимания. Партизаны жадно осматривали ящики: оружие, боеприпасы, взрывчатку… На костлявом лице старика застыло наивное изумление. Он не чувствовал боли. Он просто был удивлен. Наклонившись к нему, Янек услышал, как он повторяет по-немецки:

— *Was ist los? Was ist los*?[56]

Вдруг он узнал Янека и улыбнулся ему. И сказал ему по-польски еще не искаженным болью голосом:

— Я ранен. Это ты стрелял в меня?

— Нет.

Аугустус Шредер произнес очень серьезно, словно это было важно:

---

[56] Примечания: 56
Что случилось? *(нем.)*

— Я верю тебе. — И быстро добавил, чтобы успокоить Янека: — Мне не больно.

Крыленко высунул голову из кузова.

— Ничего, старик, — простодушно сказал он. — Не переживай. При ранениях в живот сразу не больно. Но зато потом ты свое наверстаешь. — И радостно улыбнулся. — Вот увидишь!

— Я сказал, чтобы они не стреляли, — прошептал Янек.

— Я верю тебе.

Его костлявое лицо побледнело, как полотно. Небо потемнело. Вороны перестали каркать. Черв спрыгнул с грузовика с карабином наперевес и сказал, не глядя на раненого:

— Уезжаем. Залезай. Мы отвозим грузовик в лес.

— Я останусь еще ненадолго, — сказал Янек.

— С какой стати?

— Он… он…

Он хотел сказать: «мой друг». Но сказал:

— Я его знаю.

Старик побелел, как смерть, и его губы задрожали.

— Как хочешь, — сказал Черв.

Он сел на место водителя и завел двигатель.

— Только недолго!

— Хорошо.

Грузовик оставил после себя запах бензина.

— Фотография, — попросил Аугустус. — У меня в гимнастерке…

Янек расстегнул шинель и порылся в карманах. Он тотчас нашел фотографию. На него сурово смотрел молодой парень в гитлеровской форме.

— Дай.

Он вложил фотографию в руку раненого. Аугустус рассматривал ее с иронической улыбкой.

— Он будет мной гордиться. Или пожмет плечами и скажет: он всего лишь выполнил свой долг. Вот и все. *Sieg heil!*

Фото упало в снег.

— Не оставляй меня на дороге. Если меня найдут крестьяне… Они добьют меня палками.

Янек оттащил раненого в чащу и прислонил к стволу дуба.

— Мои игрушки, мне их будет не хватать.

Янек порылся в карманах… Лицо раненого посветлело. Ему стало не так больно. Янек завел пружину и отпустил ее. Человечек ожил, улыбнулся…

— *Ach, mein lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg…*

Человечек понюхал табак.

— *Ach, mein lieber Augustin, alles ist weg!*

Человечек чихнул и самодовольно покачал головой.

— Спасибо.

Янек вложил игрушку ему в руку. Прошло несколько часов. Ночь была тихой, в обнажившемся лесу ветер не поднимал ни малейшего шороха. Только старик слабо стонал на снегу… Когда он затих, Янек положил тело на дорогу, на виду, и вернулся в лес.

24

Через три дня после нападения на грузовик к Черву явился пан Йозеф Конечный. Кабатчик приехал на санях вместе с четырьмя крестьянами. Несмотря на красивые праздничные одежды и намазанные жиром волосы, крестьяне казались подавленными.

— *Chlopcy* [57]! — закричал пан Йозеф, спрыгивая с саней. — Вы что, совсем рехнулись?

Партизаны смотрели на него с интересом. В лесу так мало развлечений.

— На Пяски наложили штраф в сто тысяч злотых! Пять соседних деревень, Пяски, Велички, Подводзе, Клины и Любавки, вместе должны заплатить полмиллиона! *Chlopcy,* посмотрите на нас… — Он ткнул себе в грудь. — Неужели мы похожи на людей, которые могут выбросить на ветер сто тысяч злотых? Одумайтесь, *chlopcy.* Вы ничем не рискуете: хлоп — и грузовик ваш, а сами спрятались в лесной чаще. Но мы-то, мы всегда под рукой. Наши спины всегда под ударом! Сжальтесь над нашими женами, над нашими

---

[57] Примечания: 57
Ребята! *(польск.}.*

детьми — да что я говорю? — над нашими сиротами!

Со стороны партизан послышалось странное карканье: Крыленко уже терял терпение.

— Каждый имеет право рисковать своей жизнью: все мы готовы рискнуть своей во имя свободы. Но никто не имеет права платить за нее жизнью других. Это не по-христиански. Нет, это вовсе не по-христиански. Знаете, что объявили немцы в деревнях?

— Гм… — сказал Черв. — Догадываюсь…

— Если разбой на дорогах не прекратится, пятеро наших граждан будут повешены! Повешены, *chlopcy.* Повешены без суда и следствия!

— Гм… — сказал Черв, мигнув глазом. — Если хорошенько поискать, в округе наверняка найдется человек пять, которых не мешало бы повесить!

— А? — удивился пан Йозеф. — Сейчас не время шутить, Черв. *Chlopcy*, я взываю к христианам, которыми вас воспитали матери! Оставьте немцев в покое. Время для решающего удара еще не настало! Когда оно настанет, я первым нанесу по ним этот удар!

— В этом можно не сомневаться! — убежденно сказал Черв.

— Ну а пока, *chlopcy*, затаитесь! Спрячьтесь! Скройтесь под землей! Станьте тише воды ниже травы. Не суетитесь… Погодите! Я человек пожилой и имею большой опыт по части всяких нашествий: уж поверьте мне, у меня в роду гораздо больше поруганных бабушек, чем у любого из вас! Говорю вам: тише воды ниже травы! Притаитесь, не шумите! Не губите наших детей, не разоряйте наши дворы, наши деревни… Мы еще повоюем с немцами, я им еще покажу, где раки зимуют! — Он резко сменил тему: — Я привез вам продуктов… От чистого сердца, от всей души!

Он снова сел в сани. Лошадь с трудом тащилась по снегу. Крестьяне молчали. Перед комендатурой пан Йозеф спрыгнул на землю, поправил на лбу *czub*, сплюнул в кулак и закрутил кончики усов, а затем вошел. Его встретил пан Ромуальд. У пана Ромуальда был таинственный, взволнованный вид.

— Ну как? — прошептал пан Йозеф.

— Тсс! — ответил Ромуальд, приложив палец к губам. — Я очень надеюсь на сегодняшний вечер, пане Йозефе!

— Правда? Действительно?

— Ни малейших сомнений. Ветер попутный! Ящики с яйцами, присланные вами на прошлой

неделе, возымели должное действие!

— Вы уверены?

— Можете на меня положиться, пане Йозефе! У меня-то уж глаз наметан, уж я-то не прогадаю! Никаких сомнений… мы к вам весьма хорошо расположены.

— Дорогой друг, дорогой мой друг! — сказал пан Йозеф.

Они долго пожимали друг другу руки, заглядывая в глаза.

— Я никогда не упускаю случая замолвить о вас словечко! — заверил пан Ромуальд. — Маленькое словечко, то тут, то там… Так надо: мы не любим, когда нам докучают.

— Я пришлю вам сыра! — растроганно сказал пан Йозеф. — Или, может, вам больше нравится сало?

— Сало, сало! — сказал пан Ромуальд. — Но с другой стороны, в наше время, сыр…

— Я пришлю вам того и другого, — решил пан Йозеф.

Его провели в кабинет. Немецкий полицейский делал себе маникюр, насвистывая: *«Kleine, entzuckende Frau»*.[58]

---

[58] Примечания: 58
Очаровательная милашка *(нем.)*.

— У нас превосходное настроение! — прошептал пан Ромуальд.

Немец поднял голову.

— *Ach!* дорогой герр Йозеф! — сказал он добродушно. — Ромуальд передал мне твое приглашение. Очень любезно с твоей стороны. Прекрасная идея, герр Йозеф. Ты так стремишься наладить отношения между властями и населением, ха-ха-ха! Я сделаю все, что в моих силах… Сегодня вечером я приду к тебе на обед!

Когда пан Йозеф вышел, полицейский мигнул глазом и щелкнул языком, а пан Ромуальд разразился громким смехом, неоднократно охватывавшим его весь этот день: он закрывал глаза, обнажал клыки и тряс головой в приступе бурного веселья… Вечером пан Йозеф принял гостя по всем правилам крестьянского гостеприимства. Полицейский наелся кроличьего паштета, который приготовила своими красивыми ручками пани Франя, сырой ветчины, домашней птицы, сыра с молоком и выпил изрядное количество водки. Затем выпил чаю с отменным маковым пирогом. Столовую скупо освещали две свечи, стоявшие на столе: в деревне не было электричества, и хотя в глубине погребка у пана Йозефа еще было довольно много керосина, расходовал он его

очень экономно. Сидя с краю стола, пан Ромуальд поглощал еду и переводил с полным ртом.

— А где же пани Франя? — спросил полицейский.

Кабатчик принял опечаленный вид.

— У жены бронхит! — заявил он. — Я поставил ей банки!

Полицейский маленькими глотками попивал чай.

— У тебя есть дети? — спросил он.

— Н-н-нет! — сказал пан Йозеф, забеспокоившись.

— *So,* — сказал полицейский, — *so…*[59]

Он закурил толстую сигару и доброжелательно посмотрел на хозяина, слегка сощурив глаза.

— Посмотрим, что я смогу для тебя сделать, — сказал он, выдохнув дым.

Пан Йозеф решил, что немец имеет в виду перевозку зерна, о которой он мимоходом упоминал за ужином, — славно все получается! — и поблагодарил его.

— Я бы с удовольствием, — серьезно сказал полицейский.

Пан Ромуальд прыснул в салфетку. Полицей-

---

[59] Примечания: 59
Так-так *(нем.).*

ский подлил себе водки.

— Я уже далеко не молод! — пояснил он. — Нужно разогнать кровь!

Он ухмыльнулся. Пан Ромуальд задыхался от смеха, а пан Йозеф, ни о чем не подозревая, тоже пару раз из вежливости усмехнулся. Полицейский осушил свою рюмку, сжал в зубах сигару и тяжело поднялся.

— Я хочу засвидетельствовать свое почтение пани Фране! — заявил он.

Кабатчик сошел с лица. Открыл рот, но ничего не сказал, да так и остался сидеть с разинутым ртом.

— Пойдем, — сказал полицейский. Он взял свечу со стола. — Покажи дорогу.

Пан Йозеф встал. Он хватал воздух ртом, словно рыба, вынутая из воды. У лестницы он обрел дар речи.

— М… моя жена уже легла! — хрипло пролепетал он.

Полицейский подтолкнул его вперед.

— Пошел!

Перед дверьми спальни кабатчик снова остановился. Поджилки у него тряслись. Он посмотрел на полицейского, как побитая собака.

— Открой дверь!

Пан Йозеф повиновался. В темноте они услышали вскрик… Полицейский вошел и поднял над собой свечу… Пани Франя спросонья смотрела на них большими голубыми глазами, распахнутыми от ужаса. Ее белокурые волосы двумя волнами ниспадали на грудь… Она подтянула одеяло под самый подбородок. Полицейский посмотрел на пана Йозефа с отвращением.

— Нет детей! — прохрипел он. — *Mein Gott!*[60] Такая женщина — и нет детей!

Он выплюнул сигару и затушил ее сапогом. Потом повернулся к пану Йозефу и протянул руку…

— Держи свечу! — приказал он.

На следующее утро кучер пана Йозефа сдался на уговоры пани Франи и отвез ее к партизанам. С мертвенно-бледным лицом, сотрясаясь от нервных судорог, она пересказала эту историю Черву.

— Можно мне у вас остаться?

Черв смотрел на нее, мигая глазом и злясь на свой тик: он был искренне взволнован.

— Можешь остаться на пару дней. Где твои родители?

— В Муравах…

— Мы отвезем тебя к ним, как только все уля-

---

[60] Примечания: 60
Боже мой! *(нем.).*

жется.

Вечером пан Йозеф приехал к партизанам в плачевном состоянии. Его усы и *czub* жалобно обвисли. Лицо печально искривилось, как у человека, страдающего зубной болью: так и хотелось приложить к его щеке компресс. Он смотрел исподлобья. Очень слабым голосом он сказал:

— Я хочу поговорить со своей женой.

— Уходи, — просто сказал Черв.

Пан Йозеф совершенно неожиданно расплакался. Он ушел, но вернулся на следующий день и еще через день. Пани Франи в лесу уже не было: Черв отвез ее к родителям в Муравы. Две недели пан Йозеф приходил ежедневно. Он просил о свидании с женой, с болью выслушивал оскорбления и уходил, не осмеливаясь смотреть никому в глаза. Но одна сомнительная шутка Крыленко привела к неожиданной развязке. Пан Йозеф пришел в лес и, по укоренившейся привычке, попросил о свидании. Крыленко посмотрел на него долгим взглядом, сплюнул и сказал:

— Мои поздравления, трактирщик! У меня для тебя хорошая новость. Ты стал отцом!

Присутствовавшие при этом партизаны, которым доводилось видеть многочасовые страдания и агонию людей, в один голос утверждали, что

«еще никогда не видали парня, который был бы настолько потрясен». Пан Йозеф не проронил ни слова. Только лицо его осунулось и побелело, а глаза приняли выражение большого человеческого страдания. «Он стал почти на человека похож», — рассказывал потом Крыленко, стыдившийся прочих последствий своей шутки. Дело в том, что пан Йозеф развернулся и ушел. Но ушел недалеко. Добравшись до первого же одиноко стоявшего поодаль дерева, он снял с себя помочи и со знанием дела повесился на самой крепкой ветке. Партизаны решили, что этот поступок был не лишен благородства и сердце пана Йозефа не целиком состояло из сала, как они предполагали, а поэтому предали его тело земле и сверху поставили деревянный крест, как подобает христианину.

25

Захваченный грузовик принес им несчастье. Черв решил спрятать его до весны на заброшенной лесопилке, по дороге на Верки. Крыленко выступил категорически против такого плана.

— Зачем он нам нужен, этот грузовик? — спрашивал он. — Я решил его сжечь… бензина как раз хватит, чтобы устроить хороший костер!

И он вызывающе смотрел на Черва. Но однажды утром Черв залез в кабину и сел за руль.

— Кто здесь командует? — возмутился Крыленко. — Я же сказал: грузовик сжечь.

— Никто, — ответил Черв, — никто здесь не командует.

И завел мотор.

— Черт возьми! — выругался Крыленко. — Я сказал…

Грузовик тронулся: украинец едва успел запрыгнуть на подножку. Машина медленно поехала по рыхлому снегу между сосен. За ней, каркая, летели вороны: видимо, надеялись, что это чудище оставит за собой лакомый навоз. Крыленко дулся. Черв посматривал на него и

мигал глазом.

— Ты что, издеваешься надо мной? — заорал старик.

— Нет, конечно, — простодушно ответил Черв. — Ты же прекрасно знаешь, что это нервный тик!

Вороны каркали; наверное, от разочарования. Партизаны ехали по пихтовому лесу, между заснеженных лап. Внезапно раздался выстрел. Ветровое стекло разлетелось на куски.

— Измена! — закричал Крыленко.

Грузовик занесло, и он врезался в дерево.

— Черв!

Черв распластался на руле. Крыленко приподнял его, встряхнул. Черв стиснул зубы. Он был еще жив. Он пытался что-то сказать.

— Х… х… — хрипел он.

Изо рта у него потекла кровь. Его лицо побелело. Внезапно он выпрямился, улыбнулся и мигнул глазом.

— Черв, черт тебя дери! Ты притворяешься, да? Ты издеваешься надо мной, да? Ты в порядке? Говори, Черв!

— Н… нет! — прохрипел Черв. — Я же т… тебе сказал, это н… нервы!

Он грузно повалился на руль. Крыленко при-

поднял ему голову: один его глаз был широко раскрыт, второй — закрыт.

— Черв!

Но Черв был мертв. Пуля попала ему прямо в грудь. Крыленко выпрыгнул из грузовика.

— Ну? — завопил он. — Чего же вы ждете? — Он обнажил грудь картинным жестом. — Стреляйте, стреляйте же!

Три человека, подбежавших к грузовику, смотрели на него с изумлением. Крыленко их сразу же узнал: это были партизаны-одиночки из соседнего леса. Они смущенно выслушивали проклятия Крыленко.

— Мы увидели грузовик с немецкими крестами… Мы же не знали… Мы только успели прицелиться и выстрелить… *Tfou, kurwa go mac*![61]

Трудно было сказать, кому адресовалось это проклятие: Черву, грузовику, судьбе или миру в целом.

— Мы не знали… Вот незадача… *Kurwa go mac*…

Это все, что они могли сказать. Некоторое время они стояли, сплевывая, глухо ругаясь и с виноватым видом качая головой.

— Помогите мне толкнуть грузовик! — по-

---

[61] Примечания: 61
Польское ругательство.

просил Крыленко, от горя переставший на них реагировать.

Они помогли ему и положили тело Червa в машину.

— Смотри-ка, — сказал один из них, — вроде как мигает глазом…

— Это нервное… — с грустью сказал Крыленко.

Он завел двигатель. Трое человек смотрели ему вслед.

— Не поминай лихом! — крикнули они вдогонку.

Крыленко выругался сквозь зубы. Ему на усы скатились две больших слезы. Изредка он поглядывал на тело своего друга и принимался горько рыдать, как несчастное дитя.

26

Несколько дней Янек мучился, сообщать ли эту страшную новость старому сапожнику из Вильно. Его сомнения разрешил Крыленко.

— Иди, — кратко сказал он, не уточняя, куда и зачем.

Но Янек понял. Он взял с собой в дорогу несколько картошек и пошел. Он попал в настоящую метель: белые хлопья залепляли глаза, а от ветра перехватывало дыхание. Он спустился в мастерскую, толкнул дверь… Старый сапожник, как всегда, работал. Он поднял голову и бросил на Янека беглый взгляд…

— Его взяли в плен? — внезапно спросил он хриплым голосом.

— Ваш сын… Он погиб.

— Тем лучше, — сказал старик. И взялся за иголку. — Я ждал этого. Каждый день и каждую ночь. Ничем другим это и не могло закончиться. Каждый раз, когда ты приходил… Это не могло закончиться по-другому. Все именно так и заканчивается. Мы рождены, чтобы страдать.

Он опустил голову и вернулся к работе. Янек

подождал еще немного, сжимая фуражку в руке. Но старик больше ничего не говорил. Склонив голову, он трудился над старым ботинком… Янек ушел. Однако на улице был сильный ветер и снег, и он решил немного переждать непогоду. Зашел в подворотню, сел на корточки и начал есть холодную картошку, вынимая по одной из-под гимнастерки. Он ел ее с кожурой и горько сожалел о том, что не прихватил с собой соли. Внезапно он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он продолжал есть, не оборачиваясь — это мог быть немец-полицейский — и пытался, скосив глаза и не поворачивая головы, заглянуть себе за спину. Он увидел мальчишку лет двенадцати, одетого в мешок, в котором были прорезаны отверстия для головы и рук. Его ноги были обмотаны тряпками, отчего казались бесформенными, и одна выглядела больше другой. На голове у него была фуражка, вроде бы новая, но слишком для него большая. Он носил ее козырьком назад, чтобы прикрыть затылок от снега. Мальчишка не смотрел на Янека. Казалось, Янек для него не существовал. Он смотрел на картошку. Он не мог оторвать от нее взгляд. Картошка гипнотизировала его. Когда Янек вытаскивал из-под гимнастерки картофелину, глаза

мальчика загорались, и он следил за тем, как она поднималась к губам, а когда Янек кусал ее, его взгляд выражал мучительную тоску: эта тоска превращалась в отчаяние, как только Янек глотал последний кусочек. Он нервно переминался, глотал слюну и с надеждой глядел на гимнастерку Янека. Осталось ли там еще? Очевидно, это волновало его больше всего. Янек равнодушно продолжал насыщаться. Мальчик стоял не месте, взгляд прикован к картошке. Лишь изредка он вздыхал и глотал слюну. Потом вдруг посмотрел на Янека: похоже, он впервые осознал человеческую сторону проблемы. Подумал одну секунду, затем стянул с себя огромный картуз, осмотрел его, сплюнул от восхищения и заявил:

— Чертов картуз, *kurwa pies.* Новехонький.

Янек продолжал грызть картошку, не поворачивая головы.

— Я сорвал его с одного прохожего. Вот это картуз!

Он увидел, что Янек роется под гимнастеркой. Мальчишка тревожно наблюдал за ним — может, картошки больше не осталось? — и с облегчением заметил, как появилась новая картофелина. Он быстро сказал:

— Продаю за дюжину картошек! И ни одной

меньше!

Янек не ответил.

— За шесть! — с тоской предложил мальчик.

Когда и это предложение не принесло успеха, его губы задрожали, а лицо скривилось. Он готов был вот-вот расплакаться.

— Не реви! — сказал Янек. — Никогда не надо реветь. Это раньше можно было. Сейчас нельзя.

Он бросил мальчику картошку, которую тот моментально слопал. Янек бросил еще одну.

— Надо было взять нож и прыгнуть на меня сверху, — сказал Янек. — Сейчас только так и надо делать. Тогда бы забрал всю.

— У меня нет ножа, — признался мальчик.

— В любом случае ты до меня не добрался бы, — успокоил его Янек. — Я сразу почувствовал, что ты здесь. Людей я сразу чую. В лесу этому быстро учишься…

Мальчик ел картошку. Он сосал ее, лизал, обгладывал, а уж потом глотал. Пытался растянуть удовольствие. Он очистил ее ногтями и, доев мякоть, сожрал кожуру.

— Ты из леса?

Янек ничего не ответил. Тогда мальчик решил чем-нибудь его удивить. Он сказал, небрежно ковыряя ногой мостовую:

— Мой отец был учителем.

— А мой — врачом, — сказал Янек.

— Мой отец, — сказал мальчик, — убил немца. — И с гордостью добавил: — Его повесили.

Он доверчиво ждал, какое впечатление произведут его слова.

— Враки! — спокойно сказал Янек. — Тебе бы стоять на паперти да просить милостыню у старушек… Со мной этот номер не пройдет!

Мальчик торжественно поклялся:

— *Jak Boga kocham*![62] Его повесили. Они повесили его перед Большим театром, и он висел там два дня. Это тебе любой скажет. Спроси, если хочешь. Я всех своих друзей водил показывать. Мама сошла с ума, и ее заперли. Твоего же отца не повесили, правда? — И пытаясь воспользоваться тем, что считал окончательной победой, мальчик быстро попросил: — Дай мне еще картошки!

— Мой отец, — высокомерно сказал Янек, — убил несколько сотен немцев. И он был не настолько глуп, как твой, чтобы попасться им в лапы… — Он пожал плечами: — Если бы за каждого немца вешали…

Мальчик посмотрел на него с уважением.

---

[62] Примечания: 62
Клянусь Богом! *(польск.).*

— А где твой отец?
— Воюет с немцами.
— Где?
— Под Сталинградом.
— Да ну?
— Ну да.
— Он офицер?
— Генерал!

Ему сразу же стало стыдно своей лжи. Где его отец теперь? Как он мог так легкомысленно говорить о нем? В смущении он вынул несколько оставшихся картофелин и швырнул их мальчику. Тот поймал на лету и положил в карман.

— Жене отнесу, — пояснил он.

— У тебя есть жена?

— Да, на меня работает. У нее нас несколько: Манек Загорский, Йозек Мека, ну и конечно, Збых Кужава… Но больше всех она любит меня. — Он важно сказал: — Славная малышка. Фрицы дают ей консервы. Она все приносит домой. Иногда они дают ей денег: их она тоже приносит. — Он сплюнул. — Короче, живем неплохо. Не жалуемся. Только вот табаку не хватает.

— Вас много?

— Аж несколько банд! Я хожу под Збыхом Ку-

жавой. Он *byczy facet*![63] Все его слушаются, и он имеет всех девчонок. Он храбрец: вчера притащил три мешка продуктов. Средь бела дня в одиночку напал на трех старушек. Почти такой же высокий, как ты. Любит веселиться и кутить. Однажды он нашел где-то одного сопливого еврея — *Wunderkind*'а, на скрипке играет. Его родителей расстреляли, или угнали в Германию, или что-то в этом роде. Збых привел его к нам, и когда у него есть охота, он заставляет его играть на скрипке, а мы танцуем. Лично я недолюбливаю этого сопляка, он *zydparch*...[64] — Он сплюнул. — Не люблю жидов. Но когда мы ходим попрошайничать, берем его с собой, чтобы он играл на скрипке. Он такая умора. Збых раз был не в духе и решил, что пол слишком грязный, так знаешь, что он сделал?

— Нет.

— Взял Вундеркинда за шкирку и заставил его вылизать весь пол от одной стенки до другой. Нужно быть Збыхом, чтобы такое придумать.

— Да, — сказал Янек, — для этого надо быть Збыхом.

---

[63] Примечания: 63
Мировой парень *(польск.).*

[64] Примечания: 64
Жид пархатый *(польск.).*

— На самом деле его зовут Монеком, но все называют его Вундеркиндом. «Эй, Вундеркинд, сходи за дровами! Поиграй на скрипке! Спляши, спой, встань на четвереньки». Он делает все, что ему скажут. Просто умора!

— Да уж, умора, — процедил Янек сквозь зубы. — Можно мне на него посмотреть?

— Можно, — сказал мальчишка, — если дашь мне еще пару картошек.

— У меня с собой нет. Но в следующий раз я мог бы принести вам целый мешок.

От удивления мальчишка разинул рот. У него пересохло в горле.

— Целый мешок? — пролепетал он.

— Да, если договоримся.

— Пошли, — сказал мальчишка.

И они отправились в путь.

— Все называют меня Песткой, — мимоходом сообщил сопляк. — А тебя как зовут?

— Ян Твардовский.

Они спустились по Погулянке до самой Завальны и повернули налево.

— Вон там, — сказал Пестка.

Здание, вероятно, раньше было заводом. Стены, правда, почернели и наполовину обрушились, но посреди двора все еще высилась нетронутая

труба.

— Туда никто не заходит, — сказал Пестка, — потому что опасно. Говорят, стены могут рухнуть. А нам плевать.

Он показал Янеку дорогу. Они спустились по разрушенной лестнице, усыпанной мусором, и попали в подземелье. Там было темно, они спотыкались о валявшиеся под ногами камни, вокруг пахло гнилью и калом. Они услышали скрипку и дрожащий голос, певший с сильным еврейским акцентом:

Siedziała na dębie
Idtubafa w zebie,
A ludziska ghipie
Mysleli if w dupie![65]

Скрипка умолкла, и тотчас послышались требовательные голоса:

— Еще, еще! *Tytyne!*

— *Tytyne!* — закричали другие голоса, среди которых было несколько высоких девичьих.

Снова зазвучала скрипка, и детский голос запел:

---

[65] Примечания: 65

Польская уличная песня на мотив французской *«C'est mon Homme»*, весь смысл которой заключается в ее крайней непристойности.

Tytyna bytia chora
Iposzfa do doktora,
A doktorjej powiedziat
Zena niej chhpiec siedziat!

— Збых Кужава в хорошем настроении, — робко сказал Пестка.

Большая половина подземелья была завалена камнями: в этом месте обрушился потолок. По ту сторону обвала горел костер, вокруг которого на мешках, ящиках и гнилых матрасах сидели мальчишки и девчонки. Старшему из них было не больше пятнадцати.

— Збых Кужава, — с глубоким уважением сказал Пестка.

Под копной белокурых волос — чахоточное лицо со странно расширенными ноздрями, словно бы им постоянно не хватало воздуха. Впалая грудь и узкие плечи. Скривившиеся губы и злобно сощуренные глаза.

— Еще, Вундеркинд! Еще, *Tytyne!*

Посередине стоял ребенок лет двенадцати. Он был некрасив: курчавые рыжие волосы, большой нос, толстые губы и глаза без ресниц, с алыми веками. Он сжимал в руках скрипку. Его губы задрожали, и он запел, аккомпанируя себе на

скрипке:

Lezala pod kaktusem,

Jebala siez hindusem…

— Что ты умеешь делать, Вундеркинд? — закричала одна из девчонок.

— Петь, играть на скрипке, танцевать и стоять на четвереньках! — быстро ответил ребенок. Он продолжал петь:

Lezala pod cyprysem,

Jebala sie z tygrysem…

Пестка вышел вперед и представил Янека. Збых Кужава окинул его беспокойным взглядом: заметно было, что он ненавидит и боится ребят сильнее себя. Пестка шепнул ему что-то на ухо.

— Что ты хочешь за свою картошку? — спросил Збых.

— Сейчас скажу.

— Лично мне она не нужна, — сказал Збых. — У меня и так жратвы хватает. Спроси остальных. — Он повернулся к Вундеркинду: — Заткни свою пасть и нагрей воды.

Ребенок тотчас скрылся за грудой камней.

— Можно мне с ним поговорить? — спросил Янек.

Збых Кужава пристально посмотрел на него.

— Ты что, только за этим и пришел?

— Да.

— Ладно, валяй даром!

Янек нашел ребенка склонившимся над костром. Он кипятил воду и беззвучно плакал.

— Как тебя зовут?

Ребенок вздрогнул и повернул к Янеку испуганное лицо.

— Вундеркинд, Вундеркинд, — быстро повторял он, как автомат. — Я пою, играю на скрипке, танцую и стою на четвереньках! Не бейте меня!

— Я не буду тебя бить! Больше никто не будет тебя бить, если только ты умеешь играть на скрипке…

Вундеркинд недоверчиво посмотрел на него. Его скрипка стояла у стенки. Янек протянул руку…

— Не трогай! — закричал парнишка. — Збых Кужава тебе морду набьет, если ты до нее дотронешься!

— Я не собираюсь до нее дотрагиваться. И я не боюсь Збыха Кужавы.

— Неправда. Его все боятся.

— Так ты умеешь играть на скрипке или нет?

Ребенок внимательно посмотрел на него:

— Ты любишь музыку?

— Очень.

— Значит, ты не побьешь меня. Нельзя любить музыку и в то же время бить меня… Ты никому не скажешь?

— Никому.

— Тогда слушай…

Он взял скрипку… Одетый в грязное тряпье еврейский мальчик, родителей которого убили в гетто, стоял посреди зловонного подземелья и оправдывал весь мир и всех людей, оправдывал самого Бога. Он играл. Его лицо перестало быть некрасивым, а неуклюжее тело — смешным, и в его худенькой руке смычок превратился в волшебную палочку. Запрокинув назад голову, словно победитель, и приоткрыв рот в торжествующей улыбке, он играл… Мир вышел из хаоса. Обрел гармоничную, чистую форму. Вначале умерла ненависть, и при первых же аккордах, подобно темным личинкам, которых ослепляет и губит солнечный свет, бежали голод, презрение и уродство. Во всех сердцах пылал огонь любви. Все руки тянулись навстречу друг другу, и все груди дышали в унисон… Время от времени ребенок останавливался и торжествующе глядел на Янека.

— Еще, — шептал Янек.

Мальчик играл… И вдруг Янеку стало страшно,

он испугался смерти. Хватило бы одной немецкой пули, холода или голода, и его душа исчезла бы, так и не вкусив из человеческого Грааля, сотворенного посреди чумы и ненависти, бойни и презрения, ценою кровавых слез и в поте лица, посреди великих физических и духовных страданий, гнева или равнодушия небес, неоценимого труда этих людей-муравьев, сумевших за несколько лет горемычной жизни создать красоту на века.

— А они меня бьют, — с горечью сказал ребенок. — Заставляют меня вылизывать пол языком…

— Как тебя зовут? — прошептал Янек.

— Монек Штерн, — ответил мальчик. — Отец говорил мне, что я стану великим музыкантом… Как Яша Хейфец или Иегуда Менухин [66]. Но отец умер, а они меня бьют.

— Хочешь пойти со мной?

— Куда?

— В лес. К партизанам.

— Мне все равно куда, только бы выбраться отсюда. Но они меня не отпустят. Я — их еврей,

---

[66] Примечания: 66

Яша Хейфец (1901–1987) — американский скрипач, родился в Вильнюсе. Иегуда Менухин (1916–1999) — американский скрипач и дирижер — *Прим. пер.*

их козел отпущения. Без меня они поубивают друг друга.

— Это мы еще увидим, — процедил Янек сквозь зубы.

— Эй там, что за дела? — закричал кто-то. — Вундеркинд, к ноге!

Это был Збых Кужава. Он посмотрел на Янека, сощурившись.

— Сговариваетесь?

— У меня есть мешок картошки, — сказал Янек.

— Это будет стоить два мешка, — возразил Збых. — Я видел, тебе понравилось, сынок.

— Один мешок или вообще ничего.

Мальчики посмотрели друг на друга… Обмен состоялся на следующий день, за спортивной площадкой в Антоколе. Збых Кужава явился в назначенный час вместе с Пестской. Сзади в отдалении семенил маленький музыкант.

— Сюда, Вундеркинд! — прокричал Збых.

Ребенок подбежал.

— Вот он, в целости и сохранности, вместе со своей скрипкой! Пестка, понесешь мешок!

Пестка снял фуражку и почесал ухо.

— Всю дорогу?

— Ра-зу-ме-ет-ся! — прошипел Збых. — И по-

быстрее!

Пестка вздохнул, плюнул в ладонь и взвалил мешок на плечо.

— Любишь лес? — спросил Янек, когда они шли по снегу между соснами.

— Не знаю, — боязливо ответил Монек. Он боялся чем-либо не угодить.

— Не бойся. Теперь никто не будет тебя бить. Можешь говорить все, что думаешь.

— Я не знаю. Я никогда не был за городом.

Но Монек не любил леса. Он скоро понял, что природа может быть такой же жестокой, как люди. В незапамятные времена его народ порвал с землей, и столкновение с заледеневшим лесом оказалось весьма болезненным. В первую же ночь ребенок превратился в человеческий комочек, несчастный и дрожащий, который только и делал, что всхлипывал: Монек в ужасе смотрел на свои окоченевшие, непослушные пальцы. Подносил руки как можно ближе к огню, но огня всегда было мало…

— Я останусь без пальцев! — постоянно жаловался он.

Тогда он брал скрипку и начинал играть, чтобы «разбудить» руки. Он играл часами, стоя в снегу, под звездным небом. Когда люди спали,

он уходил в чащу, и было слышно, как вдалеке, в сосновом бору, заунывно стонет его скрипка. Янек слушал его без устали. Он безжалостно и жадно заставлял ребенка тратить силы в снегах, словно вор, спешащий набить карманы, пока еще есть время… Он часто приносил горячей золы или раскаленных углей, но делал это не из жалости: просто он боялся, что завтра чудо-ребенок «выйдет из строя». Партизаны оказали Монеку довольно прохладный прием. Крыленко смерил взглядом малыша-еврея, повернулся к Янкелю и насмешливо поздравил его на идише:

— *Mazltow*![67]

С тех пор делал вид, будто Монека вообще не существует, — разве только не наступал на него. Когда мальчик играл на скрипке, Крыленко с отсутствующим видом ковырялся в носу. Но однажды ночью Янек застал его: спрятавшись за деревом, с разинутым ртом мужчина слушал малыша-еврея, игравшего Моцарта. Поняв, что его раскрыли, Крыленко проворчал:

— Вышел вот помочиться. А?

— Я ничего не говорил.

Что же касается Янкеля Цукера, он подверг Мо-

---

[67] Примечания: 67
Мои поздравления!

нека строжайшему допросу. Как его зовут? Чем занимался его отец? Какова девичья фамилия его матери? Чем занимался его дедушка? Не родственник ли он ветеринара Штерна из Свечан? Нет? Он не родственник ветеринара Штерна из Свечан? А не родня ли ему торговец книгами Штерн из Молодечно или скорняк Штерн из Вильно, у которого мастерская на Немецкой, между мастерскими Семы Капелюшника и Якова Зильберквейта? Нет? Он не родственник этих Штернов? Гм… Странно. Очень странно. А каких же Штернов он родственник? Штернов из Ковно? Еще страннее. Он, Янкель, до войны несколько раз бывал в Ковно, но не встречал там никаких Штернов. Однако он знал одного Циферблата, Яшу Циферблата, аптекаря. Не знает ли Монек Яшу Циферблата из Ковно? Нет. Вовсе нет… Гм… Почему же тогда немцы убили его родителей? Просто так? Гм… Вполне возможно. В наше время многих людей убивают просто так. Но, может быть, все же была какая-то причина? Гм… Почем он знает.

— Оставь его в покое, — не выдержал Махорка. Он подошел к Монеку и спросил: — Ты веруешь в Бога?

Монек ничего не ответил и взял скрипку. Он

долго играл с закрытыми глазами, а когда закончил, Махорка сказал:

— Ты хороший мальчик.

Но Монек недолго оставался в лесу. Как ни обвязывал он руки тряпками, как ни тянул их к малейшему огоньку и как ни молил о тепле, его пальцы стремительно отмирали. Звуки, извлекаемые из скрипки, становились менее чистыми, и аккорд нередко завершался невнятным скрежетом. В такие минуты он плакал, положив скрипку на колени, и его искаженное горем лицо становилось еще уродливее.

— Я теряю пальцы, — всхлипывал он, — я теряю пальцы…

Под Рождество он простудился. Долго лежал в партизанской землянке, свернувшись клубочком, как несчастный, дрожащий зверек. Он бредил и бормотал странные слова на идише, которые понимал только Янкель. Он важно переводил их Янеку:

— Он зовет родителей. — Или: — Он молится.

Однажды ночью, когда партизаны уже давно спали, ребенок пришел в себя. Он пробормотал пару слов, и Янкель встал.

— Он просит, чтобы ему дали скрипку.

Мальчик взял скрипку. Поднял смычок, но ему

не хватило сил. Тогда он обнял скрипку и прижал ее к груди, к щеке… Его губы коснулись безмолвных струн. Так он и умер, со скрипкой в руках.

В декабре весь лес облетела новость о том, что в ночь на Рождество состоится собрание всех армий «зеленых», действовавших в районе Вилейки. Махорка с картой в руке переходил от берлоги к берлоге и указывал своим огромным пальцем на место встречи, обозначенное крестиком. Поползли слухи, будто на собрании будет присутствовать Партизан Надежда, который обратится с речью к тем, кто так долго, с таким мужеством и преданностью выполнял его приказы.

Они вышли из нор и, словно тени, двинулись через безмолвный, укрытый снегом лес. Мороз щипал лицо, воздух был неподвижен; ветер, дувший накануне с востока, в конце концов стих, подобно множеству других захватчиков, увязших в бескрайних заснеженных просторах; ни единое дуновение не колыхало белые лапы пихт; Янеку казалось, будто звезды упали с небес на землю и искрились у него под ногами в каждой льдинке — достаточно было только наклониться и собрать их.

С севера пришел партизан Олеся, молодой школьный учитель, на счету которого было более

двадцати врагов, убитых в рукопашной: он превзошел всех в умении перерезать горло часовому, так чтобы он и крикнуть не успел; а также отец Бурак, бывший священник польского гарнизона на Балтийском море, продолжавший сражаться еще две недели после того, как на линии фронта умолкла последняя польская пушка. Это был плечистый, неповоротливый человек с могучими кулаками и суровым, пристальным взглядом: он мог бросить гранату на пятьдесят метров и попасть при этом в шапку.

С востока пришел Кублай, лауреат Нобелевской премии по химии, труды которого были известны во всем мире; ему было поручено отравлять воду, которую пил захватчик, пищу, которую тот ел, и даже воздух, которым тот дышал; именно он подбросил в камины штаб-квартиры гестапо в Вильно таблетки с цианидом, от паров которого умерли шеф полиции, палач поляков Ганс Зельда и двенадцать его подчиненных.

С запада пришел бывший чемпион по борьбе Пуцята, которого публика когда-то недолюбливала за нарушение правил на ринге, соперник знаменитых польских борцов Штеккера и Пинецкого; он издавна был известен своей склонностью к запрещенным ударам, предательским приемам

и целому набору недозволенных трюков, а теперь, на совершенно другом ринге, где больше не нужно ломать комедию, в этой роли превзошел самого себя.

С юга пришел отряд Черва, теперь возглавляемый Крыленко, и отряды Добранского и Михайко. Там было много других командиров партизанских отрядов вместе с их бойцами, молодыми и старыми, уже знаменитыми и пока малоизвестными, впервые видевшими друг друга.

Одни приходили на лыжах, другие — на снегоступах; третьи с трудом продвигались по снегу, порой увязая по самые колени. Они шли со всех уголков Вилейковского леса, и пихты раздвигали перед ними свои заснеженные ветви со сверкавшими на них звездами, и в этой безмолвной рождественской ночи Янеку иногда казалось, будто весь лес, набрав полные пригоршни даров, отправился к далеким яслям.

Когда они приблизились к месту встречи, сквозь темноту стал пробиваться странный, рассеянный свет. Еще минут десять, шагая ему навстречу, Янек спрашивал себя, что это за новое светило зажглось в небе над самой землей, и когда они наконец вышли на поляну, все увидели, что свет исходил от пихты, ветки которой были

унизаны зажженными свечами; вокруг этой живой рождественской ели собралось уже около сотни партизан.

Воздух был настолько тихим, безветренным и неподвижным, что крошечное пламя мирно поднималось к более пышным огням небес; внезапно в тишине раздались крики разбуженных ворон, пустившихся разносить по всему лесу новость об этой зажженной человеческими руками заре.

Янек жадно сверлил глазами лица стоявших вокруг людей, дышавших паром в морозном воздухе; с бьющимся от волнения сердцем он искал среди них того, кто скрывался под легендарным прозвищем «Партизан Надежда», поскольку был уверен, что этой ночью он здесь. Трудно разгадать его тайну, и слишком много лиц, которые могли бы принадлежать его герою. Им мог быть отец Бурак, стоявший на снегоступах, коренастый и широкоплечий, со связкой гранат на поясе; или ученый Кублай со скупой и холодной усмешкой, никогда не сходившей с его губ, — в каждой клеточке его тела жило неумолимое стремление настигнуть угнетателя. Им мог быть также борец Пуцята, настолько ловкий, что за два года партизанской войны его отряд ухитрился не потерять ни одного человека; или Добранский, стоявший

с непокрытой головой в своем черном кожаном пальто, такой молодой и так похожий на героя, каким его обычно себе представляют. Или, может, им был школьный учитель Олеся, вооруженный одним ножом; или Ярема с его монгольским лицом под заостренной меховой шапкой — он две ночи шел на лыжах, чтобы успеть на эту встречу, и бойцы его были похожи на немецких солдат, поскольку все свое обмундирование сняли с убитых врагов. Или, возможно, сам Крыленко, такой большой в своей цигейковой шубе, что автомат казался в его руках детской игрушкой. Или, может быть, Партизан Надежда был каждым их них и всеми сразу? В том, что он здесь, не было никаких сомнений. В их взглядах, в несгибаемой воле и надежде, которые читались на всех лицах, и даже в восторге и радости, которые Янек ощущал в собственном сердце, было нечто такое, что делало присутствие героя почти осязаемым, словно бы он встал и назвал себя по имени. И Янеку казалось, что небосвод сияет так ярко и он видит на нем такие безмятежные и лучезарные огни, каких не видел ни в одну из прошлых ночей, только потому, что лес знает о присутствии этого легендарного героя и приветствует его даже в самых удаленных своих уголках.

Голос отца Бурака призвал их к молитве: верующие встали на колени в снег вокруг освещенного дерева, остальные наклонили головы и утверждали свою веру в человека с таким же рвением, с каким их товарищи взывали к бесконечному. Стихли крики ворон; в лесу вновь воцарилась тишина; звезды сверкали на снегу и в небесах с одинаковой силой; извечный лесной шепот возобновился, как встарь.

После молитвы из их рядов вышел Добранский и объявил:

— Сейчас я зачитаю вам сообщение нашего главнокомандующего.

Все встали, студент развернул бумагу и прочел:

Главнокомандующий, вилейковским партизанам, 24 декабря 1942 года. Русские атакуют на Волжском фронте, войска союзников наступают в Северной Африке; их высадка на Европейский континент является вопросом нескольких месяцев. Ваша борьба, ваше мужество, ваше ожесточенное сопротивление сегодня известны всему миру; ваши имена стали легендарными; в этой кромешной тьме вы сумели озарить мир ярчайшим светом. Даю вам наказ: пусть близкая победа застанет вас в братском единении и пусть

вы найдете в себе еще большую силу и мужество, которые понадобятся нам для того, чтобы победить, не став угнетателями, и простить, ничего не забыв. Подпись: Партизан Надежда.

27

В начале января Махорка вернулся из экспедиции в город с ценными сведениями: неподалеку от Антокольского лесного кладбища уже сутки стоит колонна грузовиков — знаменитые гусеничные «опели», специально предназначенные для езды по снегу. Колонна строго охранялась: Махорка насчитал по одному часовому у каждого грузовика и два пулемета. Почуяв крупную добычу, трое братьев Зборовских рыскали по ночам вокруг машин, словно неприкаянные души у врат рая. Однако их сообщения были скудны: жители Антокола ничего не знали помимо того, что им запретили подходить к грузовикам, и единственный вывод, который братья сделали из своих наблюдений, заключался в том, что колонна, видимо, гружена взрывчаткой или бензином: солдаты никогда не курили рядом с грузовиками и вынимали табак из карманов только по ту сторону дороги. Старший Зборовский провел бессонную ночь, обгрызши себе все ногти, а наутро разыскал Зосю. Девушка пришла к партизанам, чтобы постирать им одежду.

— Зоська…

— Чего?

С другими мужчинами Зося говорила вызывающе и агрессивно.

— Ты мне нужна.

Она взглянула на него.

— Нет, — сказала она, — с этим покончено.

— Послушай меня, Зося. Это важно.

— Нет. Я больше этим не занимаюсь.

Старший Зборовский схватил ее за руку.

— Последний раз. Клянусь тебе, Зоська, последний разочек. У тебя же так хорошо получалось.

— Я не ведала, что творю. Я ничего не чувствовала. Мне было все равно. Я не давала себе отчет. Но сейчас… — Она холодно посмотрела в его мужские глаза. — А сейчас я чувствую. Я не хочу заниматься этим ни с кем другим, кроме Янека. Нет, никогда!

— Ты ничего и не почувствуешь с другими, Зося…

Она покачала головой и склонилась над стиркой, по локоть опустив руки в теплую воду. Старший Зборовский хотел было сказать: «Никто ведь ничего не узнает», но вовремя одумался. Он знал, что все его аргументы и все доводы ложны и ему нет оправдания. Но в нем кипел гнев. Гнев

и безграничное презрение ко всем, кто может придавать значение чему-либо, помимо борьбы. Он проворчал:

— Возможно, эти грузовики начинены взрывчаткой. Тонны и тонны взрывчатки… Завтра или послезавтра они отправятся на фронт. Они уедут в Сталинград, и тогда… — Он подыскивал нужные слова. — Тогда будет слишком поздно!

Он почувствовал чью-то руку у себя на плече. Зося тихо сказала своим девичьим голоском:

— Я схожу. Я согласна. Молчи, Казик, я согласна.

Она расплакалась. Старший Зборовский отвернулся от нее и убежал. Он бросился на свое убогое ложе, закрыв лицо ладонями и стиснув челюсти. В висках у него стучала кровь, щеки горели от стыда. На соседнем ложе его брат чистил винтовку.

— Что с тобой, Казик?

— Заткнись. Ничего.

— Зубы болят?

— Замолчи, блядский… — Внезапно он повернул к брату свое бледное искаженное лицо. — Я тебе морду набью. Замолчи. Заткни свою грязную глотку, набитую…

Его брат подождал минуту и спросил:

— Ты все-таки послал ее?

— Я — собака. Слышишь, Стефек? Грязный пес, вот кто я такой…

— Не изводи себя. Одним грязным псом больше, одним меньше, что это меняет?

Зося шла больше двух часов. Она держалась середины дороги — маленький черный муравей на снегу. Часового она заметила издали. Зажав винтовку между коленями, солдат бил себя руками в грудь, чтобы согреться. Метрах в пятидесяти от дороги Зося увидела грузовик: перед ним стоял пулемет с двумя солдатами, лица которых закрывали шерстяные шлемы. Часовой прервал свои упражнения и схватил винтовку.

— Здесь запрещено ходить. Марш назад! — Он попытался объясниться по-польски: — *Wzbronione… Poszla, poszla* [68]!

— Не затрудняй себя, *Liebling* [69]. Я говорю по-немецки.

Она угодливо улыбнулась.

— Я уже три года общаюсь с немецкими солдатами… Можно было кое-чему научиться!

Солдат рассмеялся. Он развернулся к грузови-

---

[68] Примечания: 68
Запрещено… Пошла, пошла!

[69] Примечания: 69
Любимый *(нем.).*

кам и прокричал:

— Слышите, я нашел девицу, которая нас согреет.

Подошел второй часовой. Это был пожилой человек с угрюмым лицом и шелушащимся от мороза носом. Он осмотрел Зосю с ног до головы и сплюнул:

— Они тут все сифилитички.

— Эта вроде бы здоровая, — заметил первый солдат. — И молодая.

— Еще ни о чем не говорит. В Бельгии я заразился от пятнадцатилетней шлюхи, а недавно Колюшке загремел в госпиталь из-за одной потаскухи, которой не исполнилось и четырнадцати. Карточка есть?

— Да.

— Покажи!

Зося вынула карточку из кармана.

— Вроде бы в порядке, — не глядя, сказал первый солдат.

— М-да, — сказал старший. — Но я сомневаюсь. В этой грязной стране… — Он харкнул. — Эх, была не была! Какая, в конце концов, разница? Подхватишь заразу — пошлют обратно в тыл. А мне ничего другого и не нужно. Так не хочется ехать на фронт.

— Мне тоже. Сколько ты хочешь за один *Stoss?*[70]

— Мне не нужно денег. На них ничего не купишь. Вот если бы у вас были консервы…

Младший солдат рассмеялся.

— А у нее губа не дура. Такая нигде не пропадет!

— Мы дадим тебе одну банку консервов за двоих.

— Этого мало.

— И спросим друзей, может, они тоже захотят. Мы скажем им цену: по банке с носа.

— Ладно.

— Надо бы спросить сержанта, может, он тоже не прочь, — сказал старший. — Он очень любит это дело, и потом, если будет заодно с нами, то, в случае чего, покроет.

— Я не хочу после сержанта. Это опасно. В Бельгии…

— Мы будем первыми.

Он повернулся к Зосе.

— Подожди там, в кустах. Мы через час сменяемся. Мы сами тебя найдем. Потом станем между грузовиками, там не так дует.

---

[70] Примечания: 70
«Палка» *(нем.).*

— Ладно.

…Она ждала. Ждала, сидя на пеньке. Она думала о том, что сказал ей старший Зборовский: «Последний раз». Но она в это не верила. Не бывает «последнего раза» для страданий, а надежда — всего лишь уловка Господа, помогающая людям выносить все новые и новые страдания. Она ждала. Время текло медленно, воздух был жестким и холодным, как лед, каркали вороны, и небо было серым. Ей хотелось малого: любить, есть досыта и находиться в тепле, и она спрашивала себя, почему так трудно любить и не умирать от голода или холода? Намного важнее найти ответ на этот вопрос, думала она, чем знать все то, чему ее ровесниц учат в школе: что земля круглая, что она вертится и как правильно пишется: *Chrzeszczy chrzaszcz wtrzcinie.* Она ждала. Она смотрела на деревья и завидовала их жесткой коре; подумала о матери и поняла, что забыла ее лицо, подумала о Янеке, и у нее в ушах зазвучал его голос. «В Сталинграде люди сражаются за то, чтобы войны больше не было». Но она уже знала, что это неправда: люди сражаются не за идею, а просто против других людей, сила солдата не в гневе, а в безразличии, и после всех цивилизаций остаются только руины…

— Вот она! — сказал чей-то голос.

Солдаты с любопытством рассматривали ее.

— Чур я первый!

— Сифилитичка? Вот бы она оказалась сифилитичкой! Моя Фрида предпочла бы, чтобы я жил с сифилисом, чем умер с Железным крестом.

— А она недурна.

— Мне плевать.

— Пропустите. Вот моя банка, мясо первого сорта! Уговор дороже денег!

— Я даю две банки и прохожу два раза.

— Выше жопы не пукнешь.

— Где мы станем?

— Между грузовиками, там спокойнее.

— Снег на дворе.

— Может, дождемся весны?

— Мы сюда шутить пришли или сношаться?

— Пошли со мной, — сказал первый солдат.

Она пошла за ним. Грузовики были сбиты в кучу, как стадо овец. Солдат снял шинель и расстелил ее на снегу.

— Иди сюда. А ты мне нравишься.

— Правда?

— Правда.

— Значит, ты хочешь, чтобы я пришла еще.

— Да. Приходи завтра. Только не поздно. Мы

уходим.

— Я могу прийти еще и послезавтра.

— Послезавтра мы уходим.

— Я могу прийти утром.

— Мы уходим на рассвете.

— Бедный *Liebling*, бедный *Liebling*. Она закрыла глаза и запрокинула голову. «Только бы ничего не почувствовать, только бы ничего не почувствовать…» Но она чувствовала ледяную землю под спиной, чувствовала ногти и кулаки, мявшие ее со всей ненавистью, какую нелюбящие мужчины способны вкладывать в свои ласки. Она слышала крики воронья, негромкую брань и шум ветра. Она ничего не говорила. И не плакала. Это было похоже на голод и холод, это было похоже на войну.

Один раз она все же спросила:

— Много еще осталось?

— Четыре парня.

— Дай мне сигарету.

— Ты с ума сошла, это запрещено.

— Почему?

— Грузовики начинены взрывчаткой. Это новая хитрость, для ракет. В Сталинград, понимаешь… Этого хватит, чтобы все взлетело на воздух.

— Да ну?

— Говорю же тебе… Когда едешь на таком грузовичке, от страха ни жив ни мертв! Малейшее столкновение — и не успеешь даже побледнеть…

— Да?

— Говорю тебе… Мы боимся даже резко тормозить!

Один из солдат не притронулся к ней. Он попросил:

— Ничего не говори ребятам…

— Я ничего не скажу.

— Спасибо… Мне так стыдно…

Другой все твердил:

— Скажи мне что-нибудь ласковое, погладь мне волосы…

Внезапно она почувствовала, как на шею капнули слезы. Она вытерла их с отвращением.

— Скажи мне что-нибудь нежное…

Она выгнула обе руки и уперлась ладонями в снег, чтобы почувствовать холодную чистоту. А потом спросила:

— Наверно, эта взрывчатка очень опасна?

— Еще бы!.. Мерзкая работенка.

— Малейшее столкновение…

— И мы все взлетим на воздух!

У последнего, пожилого, мужчины от нетерпения дрожал подбородок и тряслись руки.

— Маленькая девочка, — лепетал он. — Я поймал маленькую девочку. Совсем маленькую…

— Скажи, Лукас, сегодня или на Пасху?

— Отвяжись!

Она вернулась вечером. Старший Зборовский лежал в землянке, закрыв лицо руками.

— Это я.

Он вздрогнул и ничего не сказал. В очаге догорал огонь, и угли едва дымились.

— Казик.

Он продолжал молчать. Она посмотрела на его неподвижное, напряженное тело. Протянула руку, чтобы коснуться его плеча, но ощутила, что от малейшего прикосновения этот человек перестанет владеть собой и разрыдается. Зося отдернула руку, помогая ему перебороть себя. Затем подождала, пока угаснут угли, чтобы он не мог видеть ее в темноте, и сказала:

— Они уходят послезавтра на рассвете.

Она услышала, как старший Зборовский заворочался на своем ложе.

— Взрывчатка, — сказала она. — Что-то новое… Достаточно одного толчка, чтобы все взлетело на воздух. Они говорят, для Сталинграда.

— Ты не забыла спросить, какие…

— Не забыла. Четыре грузовика везут продо-

вольствие. Но их очень просто отличить: только у них есть прицепы.

— Ты уверена?

— Да, — прошептала она, вытирая слезы.

28

На другой день к Зборовскому пришел пан меценат и робко предложил свои услуги.

— Это задание не для пана мецената.

— Прошу вас, Зборовский!

— Пусть пан меценат не настаивает.

Адвокат схватил его за руку.

— Это мой единственный шанс стать достойным.

— Достойным? Чего? Кого?

— Ее.

Казик удивленно посмотрел на него: лицо пана мецената было худым и землистым, живот болел у него днем и ночью. Лес превратил его прекрасную шубу в лохмотья: теперь он носил ее, вывернув наизнанку, мехом наружу, и был похож на большого, доброго и немного грустного зверька, уставшего волочиться по снегу.

— Правда, пан меценат, эта шапка не по вам!

— Я знаю. Знаю прекрасно. И еще я знаю, что я трус: я больше не хочу этого, Зборовский, поймите же! У меня страшно болит живот, мне страшно хочется есть, мне ужасно холодно. Дайте мне

выполнить это задание.

— Возвратились бы лучше к жене!

— Моя жена верит в меня. Вы молоды, Зборовский, и не знаете, что значит любить женщину моложе вас на тридцать лет… Она верит в меня. Ради нее я стану мстителем, вершителем справедливости… героем! — Он печально улыбнулся. — Героем… я-то… Вы скажете, достаточно на меня взглянуть… Но она так юна, так невинна! Она вышла за меня не по любви, а из уважения, из восхищения. Я человек зрелый, а она — молодая студентка, для которой имеют значение только душа, сила характера, идеи… Бедняжечка! Ей и невдомек, что мечтатель и идеалист, каким я был когда-то, юноша, готовый погибнуть за свободу всего мира, незаметно собрал вещички и сбежал на цыпочках, как вор, а на его месте давным-давно обосновался толстый, жадный, равнодушный и трусливый буржуа… Дайте мне выполнить это задание, Зборовский. Ради нее.

Казик посмотрел в его усталое лицо, на брови Пьеро и на его шубу со взъерошенным, трепещущим на ветру мехом. Это было выше его сил — он улыбнулся.

— Когда вам исполнится пятьдесят, — тихо сказал пан меценат, — и когда вы полюбите мо-

лоденькую женщину, возможно, тогда вы меня поймете. Но с вами этого не произойдет. — И он добавил с особой гордостью: — Это дано не каждому!

— Пан меценат умеет водить грузовик?

— Да.

Казик все еще колебался, но Крыленко уже принял решение. Старый украинец поставил вопрос ребром.

— Он ни на что не годен, только лишний рот, и в любом случае подохнет от своего поноса. Пусть лучше погибнет он, чем кто-то другой!

Пан меценат выслушал инструкции с внимательной миной прилежного ребенка. Несколько раз подробно пересказал их, чтобы показать, что все понял.

— Значит, так, я жму на газ… Слева будет тропинка… Грузовики в конце. Я снова жму на газ и мчусь прямо на грузовики. Так. Объезжаю грузовики с прицепами: они меня не интересуют. Они стреляют… Пускай стреляют, слишком поздно. Так. Так. Тогда я вытаскиваю связку гранат и… так! Я все понял. Можете быть спокойны.

— Главное, чтобы пан меценат не забыл перекрыть дорогу. Иначе, если в него попадет пуля…

— Кошмар, кошмар! Полный провал! Я понял.

Я не забуду.

Партизаны смущались и отводили глаза от человека в шубе, так похожего на толстого мокрого пса. Даже Крыленко сплюнул и сказал с отвращением:

— Такое ощущение, будто посылаем паренька на верную гибель.

К животу ему привязали гранаты. Прежде чем сесть за руль, он сбегал в кусты: у него постоянно болел живот. Ему помогли сесть в кабину. Партизаны растерянно смотрели на него. Им хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее. Но они не могли подобрать нужных слов. Он весело крикнул им мальчишеским голосом:

— Ну что ж, прощайте!

Пара голосов ответила:

— Прощай.

Он завел мотор. Потом наклонился к старшему Зборовскому и быстро прошептал:

— Сходите к ней. Скажите ей, что это ради нее. Она будет мной гордиться… Не забудьте!

— Не забуду.

Грузовик тронулся. Они смотрели, как он медленно удалялся по белой дороге. Махорка снял шапку. Его губы шевелились: он молился.

— Человек — это все-таки прекрасно! — сказал

Добранский.

Так погиб пан меценат. Партизаны покинули свою берлогу, углубились в лесную чащу и две недели после взрыва не отваживались выходить из новой землянки в замерзших болотах Вилейки. Немецкие патрули прочесывали лес, но боялись заходить слишком далеко в глубь заснеженной чащи. В Антоколе казнили несколько заложников: некоторое время их имена были на слуху, а потом о них забыли. Патрули появлялись то тут, то там, но снег был глубоким, ветер — ледяным, а день — коротким, и немцы вскоре вынуждены были уйти из леса, рассчитывая, что виновников налета покарает мороз. Братья Зборовские сходили в разведку и сообщили о том, что «все утряслось». Теперь немецкие колонны объезжали лес с юга, по пинской дороге. Однажды вечером старший Зборовский вышел из леса и отправился в Вильно. Экспедиция была опасной: в городе ввели комендантский час, и, начиная с четырех часов, вооруженные отряды выискивали на улицах опоздавших. Но все двадцать семь ночей, проведенных на замерзших болотах Вилейки, Казику слышался во тьме умоляющий голос пана мецената: «Скажите ей, что это ради нее… Она будет так гордиться! Не забудьте». На

мостовых Вильно под тяжелой поступью патрулей скрипел снег; темноту внезапно прорезали пучки света и раздавались гортанные, властные, похожие на выстрелы окрики; в свете фонариков, словно ослепленные мошки, кружились снежинки и мгновенно исчезали во тьме. Казик жался к стенам и, едва заслышав шаги, прятался в подворотнях. С превеликим трудом он нашел улицу и дом. Поднялся на третий этаж и зажег спичку: «Меценат Станислав Стахевич», — прочитал он. Позвонил. И услышал звук гитары и мужской голос, певший по-немецки:

Kleine, entzuckende Frau

Bitte schau in den Spiegelgenau…

Послышались быстрые шаги — кто-то пробежал по комнате босиком — и дверь отворилась. Он увидел молодую женщину в домашнем платье, со взлохмаченными белокурыми волосами и сигаретой в уголке рта. «Пани Стахевич нет дома, — подумал Казик, — а служанка развлекается!»

— Я хотел бы поговорить с пани Стахевич.

— Это я. Говорите быстрее, я босиком.

Мужской голос пел:

In dem Spiegel da steht es geschrieben,

Du musst mich lieben,

Dukleine Frau…

Потом немец крикнул:

— Кто там, *Liebling?*

— Не знаю. Ты должен посмотреть, Фриц… Я вся озябла!

В коридор вышел немецкий унтер-офицер в расстегнутой рубашке, без воротничка и с гитарой в руках. Казик едва успел прошептать:

— Пан меценат убит.

Женщина пристально посмотрела на него. Вынула сигарету изо рта и выпустила дым через нос.

— Нет! — тихо сказала она. — Когда?

— Три недели назад.

Подошел немец. У него было молодое, смеющееся лицо и взъерошенные волосы, стриженные бобриком.

— Кто это, *Liebling*?

— Пустяки, — сказала женщина. — По поводу туфелек, которые я отдала в ремонт. До свидания, дружище!

Дверь закрылась.

— О, *Liebling!* — услышал Казик. — Мои ножки замерзли!

Потом вновь гитара и голос немца:

Kleine, entzuckende Frau…

Казик переборол себя и начал спускаться по лестнице, хотя ноги были ватными. В ушах звучал голос пана мецената: «Она так юна, так невинна. Молодая студентка, для которой имеют значение только сила характера, идеи… душа!» Он ухватился за перила, чтобы не упасть. Подумал: «Господи! Неужели это Ты правишь миром? Как Ты так можешь, как Ты можешь?» У него закружилась голова. Он грузно осел на лестницу, и его вырвало.

29

В полях бушевали метели, деревья гнули свои голые черные ветки, и каждое утро Янек находил на снегу трупы замерзших ворон. Погасший в лесу костер означал смерть человека, движения партизан стали резкими и неуклюжими, и Янеку постоянно мерещилось, что их бедные суставы вот-вот заскрежещут, как ржавые шестерни.

— Я только что слышала волка, — сказала Зося. — Он выл совсем рядом.

Добранский и Янек вернулись из леса с охапками хвороста. Их одежда и лица намокли от снега…

— Тут поневоле взвоешь, — заметил Добранский.

Они поднесли к огню окоченевшие руки.

— Наверное, привыкли, — сказала Зося. — Такая уж у них судьба — жить в лесу.

— Может, этот волк просто-напросто захандрил, — улыбнулся Добранский. — Устал от жизни и людей… Вернее, от жизни и волков.

Зося прижалась к Янеку.

— Мне было тяжело. Я думала о тебе.

— Вся разница между мной и волком в том, — сказал Янек, — что я не вою. — Он вздохнул. — А хочется.

— Тебе грустно?

— Нет. Но я ненавижу зиму. Ненавижу снег. В такую погоду можно подумать, будто земля создана не для людей и мы попали сюда по ошибке.

— Мы попали сюда случайно, — сказал Добранский. — Уж в этом-то будь уверен…

— Слушайте! — сказал Янек.

Ветер трепал деревья у них над головами.

— Леса тоже попали сюда случайно, — продолжал Добранский. — Но они веками копили мужество и терпение. Отчего же их не хватает людям?

— Я ненавижу снег.

— Ты несправедлив. — Добранский подбросил в костер пару веток, и сырая древесина зашипела, как сердитая кошка. — Ты несправедлив к нашему другу. — Он вытащил из-под гимнастерки толстую тетрадь. — Не устал?

— Так устал, что даже спать не могу. Читай.

— Рассказ называется: «Добрый снег». Действие происходит…

— Под Сталинградом.

Добранский засмеялся.

— Твоя взяла.

И он начал читать.

Они слышат, как в лесу воет волк. Нескончаемая жалоба, особенно ненавистная в этой оцепеневшей ночи.

«Подыхает от холода, — думает солдат Йодль. — Как мы…»

Сорок градусов ниже нуля. Вчера вечером в русских снегах заблудился патруль, и в крови восьмерых человек, похоже, начался ледоход. Сержант Штрассер отвечает на жалобу волка проклятием. Рядовой Грюневальд с благодарностью подставляет лицо его зловонному дыханию: как-никак тепло.

— Волки! — непроизвольно выкрикивает хриплым голосом капрал Либлинг.

«Русские волки, — думает рядовой Грюневальд. — Русские — как этот сковывающий конечности холод, как этот пытающийся засыпать тебя снег, как эти бескрайние, безлюдные просторы».

Он давно хотел побывать в России. Милая, романтическая страна с тысячами саней, несущихся по белым дорогам под серебристый перезвон колокольчиков. Беспокойная страна, стремящаяся утопить свою широкую душу в

бесконечно печальной музыке, звуки которой повествуют о недолгом и быстро подавленном мятеже или о бьющем через край, но никогда не утоляемом желании, страна, где живут одними лишь мечтами; где величие человека измеряется возвышенностью его снов и где реальность считается низменной, незначительной вещью, которую терпят с равнодушным презрением. Рядовой Грюневальд многое знал о России. Царь и тройка, Кремль и «очи черные», Пушкин, икра, Советы, водка… эти слова всегда поражали его воображение, всегда будили в его сердце странный отзвук, непреодолимое и смутное желание. «Может, во мне течет русская кровь?» — с горячностью думает он.

Сорок градусов ниже нуля. «Что я здесь делаю?» — беспокойно спрашивает себя рядовой Венигер. Он сидит на снегу, расставив ноги, напряженный и негодующий. Его седые усы жалобно обвисли.

— Брр… — дрожит рядом с ним рядовой Вольтке.

— Ад — белого цвета! — внезапно делает открытие студент Карминкель. — Никакого пламени, одни вечные снега. Души грешников мерзнут в ледяной бане. А у Сатаны седая борода, он говорит по-русски и похож на Деда-Мороза…

Патруль — всего лишь горстка измученных пленников, сгрудившихся во враждебной ночи.

«Главное — не рассеиваться, — думает сержант Штрассер. — Командующий наверняка выслал на наши поиски лыжников».

В лесу волк снова подает голос — отчаянное, краткое тявканье.

— Это кто? — спрашивает рядовой второго класса Шатц.

По правде говоря, в немецкой армии никто не называет его по имени. Его товарищи и даже командиры говорят просто «дебил». Иногда какая-нибудь сердобольная душа скажет: «Этот бедный дебил». И все сразу понимают, о ком речь.

— Красная Шапочка! — раздраженно бормочет рядовой Йодль. — Заблудилась в лесу и плачет. Боится большого злого волка.

Штрассер начинает в сердцах ругаться. Ругается он долго, чтобы растормошитъ себя, чтобы напускным гневом разогнать кровь в жилах, стряхнуть неумолимо охватывающее его оцепенение.

«Нет, это голос русской зимы, — благодушно думает рядовой Грюневальд, — русского леса и степей. Голос бесконечной ночи, короткого и тусклого дня, похожего на вспышку сознания

между двумя снами. Голос бескрайней земли и широких, как моря, рек…»

Его немощные и слабые мысли текут медленно, с трудом, словно бы сами бредут по пояс в снегу.

«Что я здесь делаю?» — снова спрашивает себя рядовой Венигер.

Эта фраза вертится у него в голове, как сумасшедшая пластинка на сломанном фонографе.

«Меня зовут Венигер, Карл Венигер. Моя профессия — бакалейщик. Мой магазин — на Гартенвег, 22, во Франкфурте-на-Майне. Я никогда не любил путешествовать. У меня трое детей. Старший уже ходит в школу. Скажите на милость, что я здесь делаю?»

— Брр… брр… брр… — убедительно дрожит рядом с ним рядовой Вольтке.

Его взор погас. Он почти ничего не чувствует. Он давным-давно испытал все виды страданий, которые способны были вынести его органы чувств. Его нервы омертвели. Тело одеревенело. Его можно почистить, как картошку. Он ничего не почувствует. Ни одна мысль больше не проложит путь по снегу, которым ему засыпало голову. Ведь голова его набита снегом. Он не может сказать, как снег туда попал, но факт остается фактом: снег там. Целые сугробы. Когда-нибудь рядовой

Вольтке очень этому удивится, но в своем нынешнем состоянии он не способен удивляться и вообще на что-либо реагировать. Его мозг замерз под снежными сугробами. И только зубы все еще живут и машинально двигаются, без остановки издавая этот неприятный звук: «Брр… брр…»

В лесу слышится волчий вой, и от него ночь становится еще непрогляднее, мороз — еще лютее, а студент Кармінкель уже не в силах разобраться, отчего холодеет у него сердце — от снега или от этого отчаянного воя, словно бы заранее оплакивающего неминуемое поражение и тщетность любых попыток спастись и правящего роковую тризну по людским надеждам.

«Красная Шапочка? — думает рядовой второго класса Вольтке. Это имя ему что-то напоминает… но что именно? — Это ребенок! — неожиданно вспоминает он. — Маленькая девочка… Я слышал о ней… еще в детстве! Наверное, она давным-давно заблудилась в лесу…»

— Сержант! — восклицает он. — Разрешите мне пойти поискать ее?

— Дебил! — уныло бормочет Штрассер.

Но добрый солдат Шатц к этому привык. Он поднимается, пытается собрать свои безжизненные конечности и встать по стойке «смирно», как

положено по уставу, и говорит:

— Сержант, в «Учебнике завоевателя» сказано, что добрый немецкий солдат обязан проявлять заботу о маленьких детях, дабы снискать уважение и преданность жителей завоеванной страны!

«У него еще есть силы говорить! — думает сержант Штрассер с восхищением. — У него еще есть силы бросаться громкими фразами, тогда как мне, сержанту Штрассеру, кавалеру Железного креста, хочется выть! Может быть, он один останется в живых? Может, завтра он предстанет перед командующим, вытянется по стойке „смирно“ и скажет: „Рядовой второго класса Шатц. Имею честь доложить вам, что патруль в количестве восьми человек под командованием сержанта Штрассера заблудился и умер от холода. Я — единственный, оставшийся в живых“.»

— Сидеть! — орет он.

Вдруг он слышит чей-то храп и резко оборачивается: рядовой Йодль спит, уткнувшись лицом в снег.

— Разбудить его!

Никто не шелохнулся. Люди превратились в восемь неподвижных точек в необъятном белом безмолвии. Штрассер начинает трясти рядового

Йодля, бить его по лицу и растирать — не столько чтобы согреть его, сколько чтобы согреться самому. Наконец рядовой Йодль раскрывает мутные глаза:

— Девушка! — бормочет он. — Красивая русская девушка!

Долгими одинокими ночами он не раз клялся себе, что, в случае легкой победы, будет заниматься любовью со всеми русскими девушками подряд. Но в этой безлюдной стране он так ни одной и не встретил. И вот теперь, когда он, наконец, нашел теплое милое создание, сержант Штрассер пытается его отнять,

— Она моя! — вопит рядовой Йодль.

Он отбивается. Двое мужчин борются. Их движения причудливы, замедленны, словно они дерутся под водой.

«Что я здесь делаю? — снова спрашивает себя рядовой Венигер. — По профессии я бакалейщик. Торгую деликатесами, солью и перцем. Я не торгую снегом!»

— Брр… брр… брр… — слабо стучат зубы рядового Вольтке.

Вдруг рядовой Грюневальд перестает ощущать свое тело. Он больше не может отличить его от снега, на котором сидит, — так, словно бы его

плоть и снег, этот добрый русский снег, полностью перемешались и превратились в единое, бесконечно холодное вещество.

«Может, я снеговик, которого ребятишки слепили во дворе берлинской школы?»

Холод медленно ворует у него тело, с ним остаются только смутное сознание того, что он жив, да туманные, сбивчивые мысли, роящиеся в голове:

«А весной распускаются почки, и все вокруг зеленеет. Степь… На солнце тепло и хорошо. Черная земля… Царь… Волга, Волга… Святая Русь… „Интернационал“…»

Небо усеяно звездами, но это враждебные огни, сверкающие льдинки. «Скоро ты перестанешь мерзнуть!» — кричит чей-то голос в голове капрала Либлинга, в сорок градусов мороза. Сидящий рядом студент Карминкель удивлен до глубины души. И весьма обеспокоен. Там, где минуту назад пролегал белоснежный простор, теперь он видит господина профессора Куртлера, восседающего за кафедрой во всем грозном великолепии экзаменационного дня. Все это действо вызывает у студента Карминкеля стойкое отвращение. Он был призван на службу, едва начав готовиться к экзамену на степень бакалавра, и почти ничего не успел выучить. Он считает, что со стороны

господина профессора Куртлера бесчеловечно вот так преследовать его посреди русских снегов.

«Кандидат Карминкель, — говорит профессор, — я экзаменую вас по географии». Он слегка свешивается через кафедру и тычет в Карминкеля указательным пальцем. «Посмотрим… что вы знаете о России?» Студент напрягает память, но не может вспомнить ничего, кроме смутных элементарных представлений. «Волга впадает в Каспийское море, — невнятно бормочет он. — В России проживает сто семьдесят миллионов человек». На ум приходят отдельные фразы, обрывки из учебника географии без начала и конца. «Украинские черноземы — одни из самых плодородных в мире. Россия простирается от Черного моря до Арктики…» Он внезапно останавливается: в голове пустота. Господин профессор Куртлер смотрит на него угрожающе: «Это все, что вы знаете о России, кандидат Карминкель?» Начинается снегопад. Он мгновенно превращает их в призраков и застилает звезды. Не видно ни зги, и все опасности кажутся реальнее. Рядовой Йодль видит русскую девушку — красивую русскую девушку со светлыми волосами. Приподняв сорочку и усевшись на снег, она снимает с себя подвязки и чулки. Похоже, ее вовсе не волнует

смертельный холод, она встряхивает светлыми волосами и продолжает стягивать чулки, бесстыжая и теплая. С игривой улыбкой на губах рядовой Йодль спешит присоединиться к ней. Он быстро сбрасывает сапоги и раздевается, дрожа от возбуждения…

— Чертова… девчонка… шлюха, — задыхаясь, шепчет Штрассер.

Наполовину раздетый рядовой Йодль сидит на снегу. Снежинки сыплются все гуще и гуще. Двое мужчин снова начинают бороться, двигаясь, как обессилевшие пловцы. Но на сержанта Штрассера неожиданно нападают. Кто-то сзади ставит ему подножку, мертвой хваткой берет его за пояс и начинает неумолимо давить ему на грудь. Сержант Штрассер отпускает рядового Йодля, бросая его на произвол судьбы. Нечеловеческим усилием он вырывается из объятий и, пошатнувшись, поворачивается.

— Боже милостивый!

Теперь он все понимает. Перед ним исполинский снеговик с угольками вместо рта, носа и глаз. Точь-в-точь похожий на снеговиков, которых он сам когда-то лепил на тротуарах Мариенштрассе, но гораздо, гораздо больше: не видно даже, где он начинается и где заканчивается. Кавалер

Железного креста сержант Штрассер не дрогнул. Теперь он знает, кто сбил с дороги его патруль. Как настоящий немец, он принимает вызов. Сжав кулаки, бросается в атаку, крича по германскому обычаю. Но великан испаряется. Он знает, каково драться с добрым немецким унтер-офицером, прошедшим долгую захватническую войну. Он испаряется. Воспользовавшись своим цветом и материалом, мгновенно прячется и спокойно ждет более благоприятного момента, чтобы напасть снова. Плотно сжатые кулаки сержанта Штрассера натыкаются на снег. Сержант наносит ему сильные, беспорядочные удары, катается по нему, охмелев от отчаяния, и осыпает его невыразимыми проклятиями.

«Так нельзя… я растрачиваю силы… Он только этого и ждет… В этом вся его тактика. Его проклятая русская тактика!»

В неподвижном воздухе весело кружатся бесформенные, неосязаемые снежинки. Воет волк.

«Этого ребенка нельзя там оставить…» — думает рядовой второго класса Шатц.

Он встает и начинает идти. Это дается ему с трудом. Он еще никогда не прилагал столько усилий для того, чтобы переставлять ноги.

«Это труднее, чем взбежать на колокольню

Кёльнского собора, — с изумлением думает он. — Красная Шапочка… Я спасу ее».

Сержант Штрассер поднимает голову и видит во мгле рядового второго класса Шатца, ковыляющего к лесу в десяти метрах от него.

— Стоять! — кричит он.

Он хочет подняться. Рядовой Шатц, конечно, дебил, однако он из его отряда, и сержант Штрассер несет ответственность за его жизнь перед всей Германией. Он хочет подняться, но в ту же секунду кто-то прыгает на него сверху, садится ему на спину и пытается повалить его на землю. Сержант Штрассер поворачивается на сто восемьдесят градусов и сразу же узнает белую массу, готовую погрести его под собой… «Снеговик!» Он бросается в атаку. Но подлый агрессор тотчас исчезает, маскируясь своей врожденной белизной…

Студент Карминкель делает новую, мучительную попытку вспомнить.

«Итак, это все, что вы знаете о России?» — повторяет господин профессор Куртлер, и его рот искривляется в саркастической улыбке.

«Украина — житница России, — мямлит студент. — Русский уголь и железную руду добывают на Урале, а нефть — на Кавказе. Самые большие

заводы в мире находятся в Днепропетровске… В Крыму вечная весна… Россия необычайно богата полезными ископаемыми!»

Господин профессор Куртлер расплывается в улыбке.

«Вы закончили, кандидат Карминкель?»

«Волга впадает в Каспийское море», — бестолково бормочет студент.

«Ну что ж, вынужден сказать вам, что вы забыли о самом главном, кандидат Карминкель».

Студент поднимает на профессора испуганный, умоляющий взгляд.

«Вы совершенно забыли сказать о СНЕГЕ, кандидат Карминкель».

Рядовой второго класса Шатц добрался до соснового бора. Он очень рад этому, поскольку уже не в состоянии сделать ни шага. Его ноги отвечают на все его усилия не подобающей воину дряблостью, граничащей с неповиновением.

— Шагом марш! — строго командует им рядовой Шатц.

Но несмотря на двадцать пять лет доброй и верной службы, его ноги упорно сохраняют досадную неподвижность.

— Под трибунал! — решительно вопит рядовой Шатц.

Тогда его правая нога, как более дисциплинированная или просто напуганная угрозой, медленно поднимается и шагает на семьдесят пять сантиметров вперед — предписанную уставом длину походного шага.

— Отлично, правая нога! — подбадривает ее солдат Шатц. — Продолжайте. Я представлю вас к награде.

Его мысли совершенно запутываются. Он остается стоять, беззащитный, как черное пугало на снегу. Чувствует, как его дыхание слабеет, сердце останавливается, а жизнь выходит из него, вопреки всем воинским уставам. Жизнь покидает его, убегая из его крови и застывших легких…

— Оставить свой боевой пост перед лицом врага! — пытается пожурить ее добрый солдат Шатц. — Это очень тяжкий проступок, жизнь…

Но жизнь беспощадно продолжает дезертировать. Он пытается вспомнить, зачем пришел в лес. «Красная Шапочка…» Из последних сил он оглядывается и видит два зеленых глаза, горящих в темноте свирепым нетерпением. «Добрый… немецкий солдат… защищает… маленьких детей… чтобы снискать… уважение и любовь… завоеванных народов…» Зеленые глаза опасливо приближаются, но жизнь, его немецкая жизнь,

забыв о форме, которую носила, и двадцати пяти годах верной и славной воинской службы, уже дезертировала: она вероломно оставила свой пост и бросила замерзшее и уже бесчувственное тело рядового второго класса Шатца на съедение голодному врагу.

«Да, — говорит господин профессор Куртлер, — вы совсем забыли о СНЕГЕ, кандидат Карминкель. Именно СНЕГ является главным сокровищем России и придает этой стране ее национальный характер. Именно СНЕГ укрывает и оберегает все остальные ее богатства, которые вы, кстати сказать, так дурно перечислили, кандидат Карминкель. Именно СНЕГ охраняет ее нефть и железную руду, ее золото и уголь, и ее самые плодородные в мире черноземы. Именно СНЕГ на протяжении многих веков давал отпор завоевателям, отправлявшимся на штурм ее сокровищ, и безжалостно смыкал свои белые руки над их трупами. Вы совсем забыли о СНЕГЕ, кандидат Карминкель».

«У меня было слишком мало времени для подготовки к экзамену, господин профессор!» — взмолился студент.

Господин профессор Куртлер что-то черкнул в своей записной книжке.

«Я вынужден вам сообщить, что вы не сдали экзамен, кандидат Карминкель.

Но мы дадим вам первоклассный шанс изучить русский снег исчерпывающим образом. Наилучшее обучение — это обучение практическое. Мы отправим вас на завоевание России, кандидат Карминкель!»

«Я отказываюсь! — вопит студент. — Я отказываюсь, господин профессор».

Но уже поздно, слишком поздно для студента Карминкеля. Ему велели явиться к другому экзаменатору, более важному, но зато и более склонному к состраданию, нежели господин профессор Куртлер. Снег укрывает его безжизненное тело. Над ним весело кружатся тысячи снежинок, ложась на его остекленевшие глаза и посиневшие губы. Не хватает только приятной музыки и, возможно, цыганского хора, чтобы придать еще больше веселья этому славному празднику русских снежинок… Рядовой Грюневальд вытягивает руку, пытаясь поймать их. «Добрый снег. Легкие, кружащиеся снежинки… Прелестное конфетти великого праздника зимы… Россия — прекрасная страна, сударь… Водка… Кремль…

С горок спускаются дети на санках… Икра… Серебристый перезвон колокольчиков…»

Сорок градусов ниже нуля. Рядовой Йодль наконец-то одержал сладострастную победу. Настиг свою русскую девочку — великолепное, бесстыжее, светловолосое создание; извечную искусительницу миллионов завоевателей. Он лежит на животе, абсолютно голый и крепко зажатый в ее ледяных объятиях. Она прижимает к себе своего нового завоевателя и запечатлевает на его отвердевших губах победный поцелуй. Сидящий поблизости рядовой Венигер больше ни о чем себя не спрашивает, а зубы рядового Вольтке больше не стучат. Капралу Либлингу больше не холодно… Вот тогда-то сержант Штрассер и решает призвать своих солдат к порядку.

— Встать! — кричит он, но с его губ не слетает ни звука.

Он поднимает оторопевший взгляд и видит перед собой снеговика, возвышающегося над ним во весь свой исполинский рост. Но на сей раз сержант Штрассер не бросается в атаку. Как настоящий немецкий воин, он умеет отступать и признавать свое поражение. Он просто снимает с себя Железный крест, прикрепляет его к груди великана — кладет его на снег — и говорит:

— Ты заслужил его больше, чем я.

И в то же мгновение безжалостный снеговик

наваливается на него, а душа сержанта Штрассера щелкает каблуками, вытягивается по стойке «смирно» и строевым шагом проходит сквозь вековечные пространства, вытянутой рукой приветствуя фюрера немецких душ, терпеливо поджидающего его у врат Валгаллы тевтонских воинов… На губах доброго немецкого солдата Грюневальда блуждает счастливая улыбка. В эту минуту ему оказывают роскошный прием. Он медленно плывет на легком челне по волнам тихого Дона. Русский народ — весь русский народ: калмыки и киргизы, грузины с Кавказа, запорожские козаки, суровые узбекские горцы, украинцы, татары, сибирские крестьяне, евреи, курды — все двадцать семь национальностей устраивают ему бурную овацию. Миллионы людей полными пригоршнями бросают в него конфетти, знаменитое русское конфетти — белое, ледяное, кружащееся… И съедают целые тонны икры, и выпивают целые бочки водки за здоровье своего нового завоевателя, и хором поют в его честь «Очи черные». И цари, все русские цари — и самозванец Борис Годунов, и Иван Грозный со своими боярами, и Петр Великий, и все остальные толпой выходят из Кремля, чтобы приветствовать его, и смеются, проходя мимо — там даже Ленин, сбежавший

из своего мавзолея, и весь великий русский народ, все сто семьдесят миллионов жителей показывают пальцем на доброго немецкого солдата Грюневальда — Грюневальда-Завоевателя, Грюневальда-Великолепного — и громко, беспрестанно хохочут, держась за бока и ударяя себя в живот, смеются до упаду от безграничной радости и швыряют ему в глаза, в рот и в глотку свое красивое русское конфетти — белое, ледяное и кружащееся, которое мало-помалу засыпает его и перекрывает ему дыхание. И безжалостно гремит гомерический смех… И медленно течет тихий Дон… И так же медленно падает снег. Медленно, посреди бескрайнего и почти мистического безмолвия, он выполняет свою историческую задачу. Старательно, равнодушно и спокойно погребает завоевателей. Хладнокровно и без лишней спешки… Большие, легкие, беспощадные снежинки. Снег. Добрый снег.

30

Аббата Бурака схватили, когда он молился в небольшой часовенке Святого Франциска в Верках, и на месте расстреляли. Отряд Пуцяты потерял пять человек во время стычки с бронемашинами на подбродзевской дороге, а сам Пуцята был тяжело ранен и отлеживался на одном из хуторов. Кублай был убит в ожесточенном бою, совершая диверсию на молодеченской железной дороге. Два радиста, выданные женой одного хуторянина, были окружены на гумне, и все подпольные лесные радиостанции получили их последнее сообщение: «Прощайте, желаем удачи, еще двух нет».

Но Партизан Надежда оставался все так же неуловим. Поговаривали, что его штаб-квартира теперь — в самой Варшаве; что он готовит восстание в еврейском гетто столицы; предатели и шпионы докладывали, что видели его в нескольких местах одновременно; каждое утро люди встречали карательные отряды вызывающими улыбками — их словно бы воодушевляла тайная уверенность в том, что с ними не может слу-

читься ничего плохого. В деревнях ходили самые фантастические и невероятные слухи:

— Он встречался с Рузвельтом и Черчиллем и предложил им свои условия. Сталин наконец-то нашел человека, с которым можно вести переговоры.

— У него есть потрясающее тайное оружие — луч смерти. Радиус действия: десять километров.

— Вчера он приходил в сухарковскую школу поговорить с детьми; у ребятишек до сих пор глаза горят.

Такой холодной зимы люди не помнили давно. В некоторых местах толщина снега достигала четырех метров, и «зеленым» пришлось покинуть свои берлоги. Отряды Крыленко, Добранского и Громады укрывались в охотничьем домике, затаившемся в глубине замерзших вилейковских болот на крошечном островке, затерянном среди окаменевших камышей. Как-то раз, 3 февраля 1943 года, в их убежище вбежал такой возбужденный Пех, что они схватились за оружие, решив, что настал последний момент. Но он просто хотел поговорить с Крыленко о его сыне. Ходили слухи, что сын Крыленко — генерал Красной Армии, но упоминать его имя в присутствии старого украинца не разрешалось. Если же кто-нибудь

случайно или назло затрагивал эту щекотливую тему, Крыленко становился угрюмым и цедил сквозь зубы по-русски: *«Сволочь!»*

— Ну, что вы, Савелий Львович! — удивлялся его собеседник. — Раз уж народ счел вашего сына достойным столь высокого звания, значит, он человек стоящий.

— *Сволочь!* — твердил старик, слегка повышая голос в виде последнего предупреждения, и пристально смотрел на собеседника, словно бы приглашая его разделить честь этого оскорбления.

— Но почему, Савелий Львович?

— А какого еще имени заслуживает человек, предавший своего отца врагу?

— Но он же никогда не предавал вас врагу, Савелий Львович!

— Предавал. Я сказал: *«Сволочь!»*

— Не сердитесь так, Савелий Львович!

— Я не сержусь, *холера ему в бок!*

— Ну хорошо, Савелий Львович, раз уж вы так настаиваете…

— Какого еще имени заслуживает человек, отдавший врагу деревню своего отца?

— Может, он просто не мог поступить иначе?

После этого старик выходил из себя, подносил

волосатый кулак к носу собеседника и спрашивал его, медленно и грозно шевеля торчащими усами:

— Что это, по-твоему?

— Кулак, Савелий Львович!

— Ты бы отдал врагу деревню своего отца, если бы остался в живых?

— Н-н-нет, Савелий Львович, нет… Только…

— Только что?

— Н-н-ничего, Савелий Львович!

— Ты бы не сделал этого, а?

— Н-н-нет.

— Точно?

— Точно.

— Ты поклянешься в этом на могиле своего отца?

— Мой отец, Савелий Львович, находится в добром здравии, благодарю вас.

— Все равно поклянись.

— Клянусь!

— Хорошо. Вспомни об этом, если вдруг станешь генералом.

— Обязательно вспомню, Савелий Львович… Разрешите идти?

— В наше время никогда не знаешь, какой еще мудак станет генералом. Это ж надо — произвести

Митьку в генералы!

— М-м-митьку?

— Сына моего, *холера ему в бок!* — орал Крыленко, и его усы тотчас вставали торчком. — Я же тебе двадцать раз повторял. В следующий раз, если забудешь…

Но после такого разговора «следующего раза» обычно не бывало. Первое время партизаны относились к истории Крыленко весьма недоверчиво. За его спиной ее называли просто *budja — budja na resorach* [71]. Но как-то раз старик с чрезвычайно брезгливым видом вытащил из кармана скомканную фотографию, вырезанную из «Правды». Знавшие русский язык ветераны двух войн прочитали подзаголовок: «Самый молодой генерал Красной Армии Дмитрий Крыленко». Украинец был сапожником из крохотной деревушки Рябинниково. В двенадцать лет сын сбежал из дому после бурной сцены, дав понять отцу, что хочет «учиться и кем-нибудь стать». Семнадцать лет старик ничего о нем не слышал, но в самом начале фашистского нашествия жители Рябинникова сообщили ему, что Митька получил звание генерала Красной Армии и его фото напечатали

---

[71] Примечания: 71

Турусы на колесах, бабушкины сказки *(польск.).*

на первой странице «Правды». Старик отнесся к этому крайне скептично. «Учиться и кем-нибудь стать, — проворчал он. — Ге-не-рал!» И с отвращением влепил своему другу козаку Богородице, имевшему несчастие улыбнуться, пару затрещин, мигом согнавших улыбку с лица бедняги. Не удовлетворившись этим, старик вспомнил, что во время революции дослужился до капрала, и решил пойти добровольцем на фронт. В деревню Рябинниково пришло несколько писем, в которых говорилось, что «он чувствует себя хорошо», и одновременно известие о награждении генерала Крыленко орденом Ленина за защиту Смоленска. Первая встреча отца и сына после семнадцати лет разлуки была на редкость драматичной. В тот день сын сапожника сидел за сосновой доской, служившей ему рабочим столом, и изучал карту. «Так… двадцатая дивизия. Рябинниково!» До этого момента Рябинниково было для него всего лишь одним из населенных пунктов русской земли, ничем не отличавшимся от прочих, которые он обязан был защищать. Но сейчас… «Старик!» Он пожал плечами. «Рябинниково, равнинная местность. На юге — сосновый бор… танки пройдут легко. У двадцатой дивизии мало противотанковых установок. Это означает:

оставить Рябинниково и отступить на восток». Он взял карандаш и старательно нарисовал три стрелки, обращенные к реке, и полукруг в двадцати километрах к востоку от Рябинникова.

Он взял лист бумаги, составил приказ об отступлении и внезапно с подлинным ужасом подумал: «Старик будет рвать и метать!» Он вздохнул, зашел в кабинет своего заместителя и друга капитана Лукина, передал ему приказ об отступлении и снова уселся за сосновой доской. В комнату вошел дневальный, щелкнул каблуками и отдал честь. Не успел он открыть рот, как послышался чей-то громкий голос, целый град ругательств, и в комнату, пятясь, ввалился старик Крыленко, за которым с выставленным штыком гнался раздраженный часовой.

— Отец! — воскликнул генерал.

Но старик не обращал внимания на сына и полностью сосредоточился на часовом.

— Ты что, не видишь нашивок, а? — горланил он. Он поднес свой рукав под нос часовому. — Чем пахнет, а? У тебя таких никогда не будет!

Он высморкался в кулак и повернулся к сыну. К молодому Крыленко вернулось самообладание. Он жестом выпроводил часового и дневального. Старик подбоченился, наклонился вперед и с

недоверчивым отвращением осмотрел свое создание с головы до ног.

— Значит, это правда, Митька? Они произвели тебя в генералы?

Митька опустил глаза и молчал с виноватым видом.

— Да что ж это такое! — заорал вдруг старик. — Разве так встречают отца, сукин ты сын? Задница на стуле, а рот на замке? Я мало тебя лупил, а? Или ты считаешь, что уже поздно? — Огромный, волосатый кулак оказался под носом у генерала Крыленко. — А?

Отворилась дверь соседней комнаты, и с опешившим видом вошел капитан Лукин.

— Это мой отец! — поспешно объяснил ему молодой Крыленко.

Дверь вежливо затворилась. Молодой Крыленко повернулся к отцу и начал примирительным тоном:

— Да не орите вы так! А то сейчас все сбегутся. Понятное дело, я очень рад вас видеть…

Капрал Крыленко удобно устроился в кресле за генеральским письменным столом.

— *Ну то-то!* — проворчал он. Он подозрительно посмотрел на грудь сына. — А это что такое? — строго спросил он, ткнув пальцем в

орден Ленина.

Молодой Крыленко покраснел от смущения. Он чувствовал себя несчастным и раздавленным. Он смотрел исподлобья с виноватым видом. «Честное слово, можно подумать, будто я его украл».

— Это так, — попробовал он оправдаться. — За Смоленск, помнишь, прошлым летом… Штуковина такая!

— Штуковина! — передразнил его старик Крыленко, хрипя от злости. — И правда, почему бы не нацепить орден Ленина, коли есть куда? А? *Прохвост!*

— Но…

— Молчать. — Над сосновой доской снова протянулся мохнатый кулак. — Сыми сейчас же!

Молодой Крыленко быстро отцепил медаль и спрятал ее в карман.

— Не нервничайте… В вашем возрасте…

— В своем возрасте я еще сражаюсь на фронте, а ты в свои двадцать девять превратился в тыловую крысу. А? — Он презрительно сплюнул и вытянул ногу. — Сними с меня сапоги!

Молодой Крыленко подошел к отцу, повернулся к нему спиной, ухватился за один сапог и начал тянуть, а старик уперся вторым ему в зад.

— Чаю хочу, — заявил он. — Скажи, чтобы при-

несли самовар.

Генерал позвал дневального. Дневальный вошел, щелкнул каблуками, отдал честь и с разинутым ртом уставился на разутого капрала, удобно разместившегося за генеральским столом.

— Принесите чаю!

Дневальный щелкнул каблуками и вышел, пошатываясь. Старик Крыленко потер руки и посмотрел на карту.

— Рябинниково! — внезапно обнаружил он с детской радостью и поставил на карту свой толстый грязный палец. — А это что за подкова?

— Это наши новые позиции. Я отдал приказ эвакуировать Рябинниково и занять…

Молодой Крыленко с тревогой остановился. Усы старика мгновенно встали торчком и затрепетали, как листва на ветру. Глаза злобно сощурились, а из носа послышался прерывистый, злобный свист. Он медленно встал и наклонился вперед…

— Это как же понимать?

— Не стоит смотреть на эти вещи с сугубо личной точки зрения, отец!

— Ты не будешь защищать Рябинниково? Наше Рябинниково?

— Ну перестаньте, отец… Будьте благоразумны. У врага совершенно свежая бронетанковая дивизия, а у меня нет противотанковых установок…

— Нет противотанковых установок? Что же ты сделал с теми, которые доверил тебе народ? *Пропил их, что ли? Или в карты продул?*

— Да что вы такое говорите, отец…

— *Сволочь!* — завопил вдруг старик сорвавшимся голосом. — Ко мне, товарищи! К стенке его! Расстрелять! Погоди, погоди у меня!

Он подпрыгнул с поразительным проворством, схватил сына за ухо и оттаскал его…

— Ай! — бесстыдно закричал генерал Крыленко. — Отпустите меня!

— Он оставил Рябинниково! — причитал старик. — Пятнадцать лет я там жил, работал и трудился… Нет такой ноги, которой бы я не обул! Наша деревня, без единого выстрела отданная врагу! Что скажет Степка Богородица? А Ватрушкин? А Анна Ивановна? Митька Крыленко отдал врагу родное село! Мой сын!

Встревоженный криками часовой ворвался в комнату с выставленным штыком, убежденный, что его генерала убивают. Он увидел расхристанного и босого старого капрала, с плачем таскавшего за ухо генерала, который — о, ужас! —

даже не пытался защищаться. Для часового это было уже слишком. Он протер глаза и вылетел из комнаты с таким видом, будто все бесы восстали из ада и несутся за ним по пятам… В конце концов молодому Крыленко удалось освободить свое измятое ухо и спрятаться за столом.

— Мне дают приказы! — пытался он объясниться. — Нельзя вести войну, как вздумается… И я же сказал вам, у меня нет противотанковых установок!

— Противотанковые установки, противотанковые установки! А штыки что, для собак придуманы?

— Отец!

— Холера тебя побери! — попросту ответил ему старик Крыленко. — Рябинниково, оставленное без единого выстрела, без единого погибшего на его улицах солдата!

Он резко замолчал и встал.

— Ну что ж, я, Савелий Крыленко, сам покажу тебе, как должен драться настоящий гражданин! Я сам пойду в Рябинниково! Я один буду защищать его! Своей грудью! Своими руками! Обойдусь без тебя… *Скотина.*

Он засучил рукава и торжествующе направился к двери.

— Отец, а чай? — робко промямлил Митька.

Старик Крыленко обернулся и спокойно плюнул себе под ноги.

— Вот тебе твой чай! Не хватало, чтобы меня еще отравили! Человек, способный отдать врагу свою деревню, вполне может отравить собственного отца!

Он вышел, и за дверью еще некоторое время слышался его голос, изрыгавший проклятия. Молодой Крыленко остался один в комнате. Он вынул носовой платок и вытер лоб. «Мне что, все это приснилось?» Он обвел робким взглядом кабинет и вскочил. Посреди комнаты важно возвышалась пара почти новых, до блеска начищенных сапог… «Он ушел босиком!» Он схватил сапоги и бросился на улицу. Галопом, с сапогами в руках, пробежал по снегу сотню метров и окликнул какого-то солдата.

— Вы не видели разгневанного капрала с большими усами и босиком? — строго, скороговоркой спросил он.

Несчастный солдат посмотрел на генерала Крыленко, прославленного генерала Крыленко, который, запыхавшись, стоял перед ним с сапогами в руках, и его рот широко раскрылся, издав слабый вскрик… Но Митьки уже и след простыл.

С сапогами в руках он быстро бежал в сторону размахивавшей руками фигуры, что удалялась по снегу вдоль замерзшей реки… Старик прибыл в Рябинниково как раз в тот момент, когда немцы, вошедшие в деревню с противоположной стороны, въехали на рыночную площадь. Крыленко побледнел, взглянул на толстого немецкого майора, высунувшегося из танка, и подошел к нему:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик…

— *Was? Was*?[72] — встревожился майор.

— Он поздравляет вас с прибытием, — объяснил лейтенант.

— *Ach,* с прибытием, *gut, gut*![73] — обрадовался майор.

Старый сапожник перевел дыхание и плюнул немцу под ноги.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик! — повторил он.

— *Abfuhren*! [74] — пролаял майор, побелев от ярости.

---

[72] Примечания: 72
Что-что? *(нем.)*

[73] Примечания: 73
Хорошо, хорошо! *(нем.).*

[74] Примечания: 74
Увести! *(нем.)*

Старика отправили в польский лагерь для военнопленных со всеми почестями, приличествующими его званию, иными словами — в вагоне для скота. В Молодечно ему удалось бежать, он шел двое суток, потом потерял сознание, а наутро его разбудил младший Зборовский, подобравший его и выходивший.

Когда в землянку вошел Пех, Крыленко как раз вычесывал вшей.

— Удачной охоты! — пожелал Пех.

— Спасибо.

— Савелий Львович, — робко начал Пех.

Он запнулся.

— А?

— Так, ничего, — вздохнул Пех.

— Что ж, тогда молчи.

Он продолжал старательно рыться в своем *тулупе,* сидя на груде поленьев.

— Савелий Львович! — снова начал Пех.

— А?

— Не сердитесь…

Крыленко не спеша отложил свой тулуп в сторону и посмотрел на Пеха:

— Послушай, сынок, ежели у тебя есть что сказать, скажи. А когда скажешь, не забудь уйти.

У Пеха нервно заходил кадык, и он начал:

— Ваш сын, Савелий Львович…

— *Сволочь!* — тут же оборвал его старый украинец.

Но Пеху все же показалось, что в его взгляде мелькнул огонек заинтересованности. Он быстро продолжал:

— Вчера Болек Зборовский слушал новости из Москвы. Ваш сын, Дмитрий Крыленко, получил звание Героя Советского Союза за участие в освобождении Сталинграда.

Лицо старика стало белее его усов.

— Не сердитесь! — быстро сказал Пех.

— Ты уверен? — спросил Крыленко.

— Уверен, Савелий Львович, Болек Зборовский сам слышал, в Вильно…

— Где он?

— На улице… Он сам не осмелился вам сказать, но если вы хотите…

— Приведи его.

Пех выскочил наружу, как заяц, и тотчас вернулся с младшим Зборовским. У последнего вид был очень напуганный.

— Говори! — закричал Крыленко. — Чего ждешь?

— …Герой Советского Союза! — выпалил Болек. — За участие в освобождении Сталинграда.

— Ты уверен?

— Уверен, Савелий Львович! Так и сказали: «генерал Дмитрий Крыленко».

— Да я не об этом спрашиваю, олух! Так и сказали: «освобождение Сталинграда»? Так и сказали: «освобождение»?

— Освобождение, Савелий Львович! И добавили: «генерал Дми…»

— *Сволочь!* — холодно оборвал его старик Крыленко. — Остальное меня не интересует.

— Как это не интересует? — возмутился в конце концов Пех. — Разрешите удивиться, товарищ! Разрешите мне удивиться!

— Что ж, — сказал Крыленко ободряюще, — валяй, дружище, удивляйся на всю катушку!

Он отступил на шаг и склонил голову набок, словно бы для того, чтобы лучше видеть, как Пех будет удивляться.

— Савелий Львович! — закричал Пех. — Ведь ваш сын освободил Сталинград.

— Н-нет. Это не мой сын. Народ освободил Сталинград. Народ, понимаешь? Народ надо благодарить! Мой сын отступал месяц за месяцем. Он чертил на карте стрелочки да кружки: это все, чем он занимался. Потом он сказал себе: «Этот кружок будет последним». «Понятно?» — спросил

он у народа. И народ ответил: «Понятно». Так кого же нужно благодарить? Того, кто нарисовал на карте маленький значок, или того, кто оросил землю своей кровью? А?

Воцарилось молчание. Потом Пех шумно выдохнул.

— Как бы то ни было, я пришел сюда не для того, чтобы дискутировать, а чтобы вас поздравить. А товарищ Добранский сегодня вечером приглашает вас к нам. Мы будем отмечать освобождение Сталинграда. У нас будет картошка!

— Поесть приду, — холодно пообещал старик.

Выйдя из землянки, младший Зборовский мрачно заявил:

— Какой стыд… Что толку от этих родителей? Даже благодарности от них не дождешься.

И с отвращением сплюнул.

31

На углях раздувалась и весело потрескивала картошка, люди сбросили овчины и расстегнули гимнастерки: было жарко. Но не столько от тепла огня, сколько от скромного, братского тепла толпы, столь желанного для несчастных, но от которого с брезгливостью отворачиваются счастливые люди. Подсев поближе к огню — его штаны уже начинали дымиться, — старик Крыленко не чувствительной к ожогам рукой вытаскивал картошку из золы. Сидя перед *чайником* с кипятком, Янек заваривал «чай»: Пех передал ему свой знаменитый рецепт… Заседание открыл сам Пех.

— Товарищ Добранский! — торжественно объявил он.

Раздались аплодисменты. Пех решил, что настал подходящий момент для «гальванизирования» публики, как на митингах в старое доброе время. Он поднял кулак, глубоко вдохнул и прокричал:

— Да здравствует единение и братство между народами! Да здравствует освободительная армия! Да здрав…

— Помолчи, Пех, — вежливо осадили его. — Сядь.

Добранский раскрыл свою тетрадь.

— Идея рассказа, который я собираюсь вам прочесть, возникла у меня, когда я перечитывал знаменитую балладу Пушкина: «Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит».

— «Руслан и Людмила», — уточнил Пех, — два первых стиха! — Он вскочил и загорланил: — Да здравствует бессмертный гений народного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина!

— Ложись, ложись! — попросили его. — Пех, марш в конуру!

Добранский сказал:

— Называется «На подступах к Сталинграду».

И стал читать:

Рассвет. Мало-помалу умолкают ночные лягушки, разлетаются в беспорядке последние летучие мыши, а из камышей медленно выходит цапля и проглатывает первую рыбешку. Над рекой появляются два старинных волжских приятеля — столетние вороны Илья Осипович и Акакий Акакиевич. Они медленно кружатся в утреннем воздухе и озабоченно изучают поверхность воды.

— Опять ничего, Акакий Акакиевич?

— Опять, Илья Осипович. Наверно, вы чего-то недослышали.

— Да нет же, окно было широко открыто, и громкий голос сказал по-немецки: «Официальное сообщение Восточной армии. Вчера наши войска под командованием генерала барона фон Ратвица, покорителя Гааги и одного из самых блестящих наших военачальников, достигли Волги!»

— Клянусь отчим гнездом! — забожился Акакий Акакиевич, сглатывая слюну. — У меня аж слюнки потекли.

На воде показались двое неряшливого вида субъектов, сидящих верхом на двух стволах засохших деревьев. Оба ствола кружатся в опасных водоворотах.

— Питц! — отчаянно вопит первый всадник. — Нам непременно нужно пристать к берегу!

— *Zu Befehl*![75] — отвечает второй всадник, стараясь не шевелиться.

Мимо проплывает труп бывшего немецкого солдата Шванке из красивого балтийского городка Сассница. У него праздный, беззаботный вид, в зубах торчит соломинка, он лежит на

---

[75] Примечания: 75
Слушаюсь! *(нем.)*

спине с застывшим взором, очевидно, целиком поглощенный созерцанием неба. Однако от этого отрешенного взгляда не ускользают проплывающие мимо жертвы кораблекрушения. От удивления бывший солдат Шванке переворачивается и крепко цепляется за первый ствол.

— Эй! Карл Редер из Гамбурга! — кричит он на языке мертвых в сторону камышей. — Посмотри, кого я поймал!

— Чем посмотри? Задницей? — ворчит на том же языке бывший каменщик Карл Редер из Гамбурга.

Он отделяется от камышей и плывет вслепую, не разбирая дороги.

— Мне бы только добраться до тех двух гнусных куриц, сыгравших надо мной эту злую шутку!

Илья Осипович и Акакий Акакиевич смотрят на него с невиннейшим видом.

— Сюда! — милосердно руководит им его коллега, бывший солдат Шванке.

— Что там? — с интересом спрашивает каменщик Редер.

— Эй! Принцель из Маннгейма! — кричит Шванке. — Каннинхен из Любека, идите сюда! Угадайте, кого я поймал!

— Пусть меня повесят, — громко говорит

совершенно голый субъект, неожиданно вынырнувший из воды, словно поплавок, — пусть меня повесят, если это не генерал барон фон Ратвиц собственной персоной, один из самых блестящих наших военачальников.

— Что касается повешенья, — откликается из камышей чей-то ворчливый голос, — мне кажется, дружище, тебе придется довольствоваться утоплением! Дайте-ка мне поближе подплыть… Ничего не вижу без очков! *Donnerwetter*![76] Если это не генерал барон фон Ратвиц собственной персоной, тогда меня зовут не Каннинхен!

— Разумеется, тебя больше не зовут Каннинхен! — слышится в камышах сварливый голос. — И чем больше я на тебя смотрю, тем сильнее убеждаюсь в том, что даже у твоего сына другая фамилия! Я не сомкну глаз, пока не отыщу себе мягкий ил без раков… Что здесь происходит?

Над водой показались три четверти бывшего немецкого капрала.

— Смотрите, смотрите! Один из самых блестящих наших военачальников! Эй, вы, в камышах, на песке, в прибрежных ветвях и в подводных камнях, все, что от вас осталось, сюда!

---

[76] Примечания: 76
Немецкое ругательство. — *Прим. пер.*

— Только не говорите мне, что это Адольф Гитлер, — визжит фальцетом взволнованный голосок, — а не то я умру от радости!

— Ха-ха-ха! — хохочет почтенное собрание. — Ха-ха-ха!

Генерал барон фон Ратвиц, один из самых блестящих наших военачальников, яростно цепляется за ствол засохшего дерева. Он попал в водоворот. Вокруг него кружатся трупы бывших немецких солдат, хватаясь за ветки его «лошадки».

— Питц! — сердито кричит он своему адъютанту. — Отгоните от меня эти трупы. Они мешают нам двигаться вперед.

— *Zu Befehl!* — вопит побелевший от ужаса оберлейтенант Питц.

— Акакий Акакиевич! — торжественно восклицает ворон Илья Осипович. — Помните ли вы кисет, снятый моим покойным отцом с трупа одного французского генерала под Бородино? Ставлю его против ваших милых серебряных часиков, что у этого молодого лейтенанта не хватит смелости нырнуть в воду. Слово чести!

— Слово чести! — задорно принимает вызов Акакий Акакиевич.

— Ну что ж, *meine Herren*[77], - объявляет почтенному собранию бывший солдат Шванке, созерцая небеса своим ничего не выражающим взором. — Полагаю, на сей раз он у нас в руках. И этим вы обязаны мне!

— Прекрасно, Шванке! — хрипит бывший солдат Принцель из Маннгейма. — Мы готовы отблагодарить тебя рюмкой волжской водицы!

— Ха-ха-ха-ха! — хохочет почтенное собрание над этой весьма тонкой шуткой. — Ха-ха-ха-ха!

— В чем дело? — спрашивают возбужденные голоса в камышах, и со всех сторон всплывают останки бывших солдат бывшей Великой немецкой армии. — *Gott im Himmel*![78] К нам присоединился генерал барон фон Ратвиц!

— Он еще не присоединился к нам окончательно, — замечает бывший капрал Каннинхен с таинственным видом. — Гм! Гм!.. Почтенное собрание, может, кто-нибудь из вас возражает против того, чтобы генерал барон окончательно стал одним из нас?

— Никто, никто! — послышались со всех сторон восторженные голоса. — Напротив, весьма

---

[77] Примечания: 77
Господа *(нем.).*

[78] Примечания: 78
О господи! *(нем.)*

польщены, весьма польщены!

Генерал барон отбивается ногами слева и справа, пытаясь освободить свою «лошадку».

— О-го!.. — с притворным огорчением жалуется бывший солдат Шванке. — Он дал мне пинка под зад.

— Да как он посмел! Это преступление! Это категорически запрещено уставом!

— Ох, как больно! — причитает бывший солдат Шванке, остекленевшим взглядом призывая в свидетели небеса.

Почтенное собрание умирает со смеху и все плотнее окружает неподвижный ствол дерева.

— Питц! — вопит генерал барон. — Немедленно спуститесь и вытащите меня отсюда!

— *Zu Befehl!* — визжит обер-лейтенант Питц и, зажмурив глаза, сигает со своей «лошадки».

Илья Осипович удовлетворенно покачивает головой.

— Хорошо, что я не поспорил с вами, Акакий Акакиевич, — говорит он. — Иначе бы не видать мне своего кисета.

— Но вы же поспорили, Илья Осипович! — восклицает Акакий Акакиевич, стараясь казаться возмущенным. — Вы дали слово чести!

Илья Осипович прикрывает один глаз и смот-

рит другим на Акакия Акакиевича; последний вздыхает и больше не настаивает.

— *Meine Herren, meine Herren!* — вопит бывший солдат Шванке. — К нам присоединился обер-лейтенант Питц. Я намерен поручить двоим из вас проследить за тем, чтобы его поступок носил… гм! как бы это поточнее выразиться? окончательный характер. Кто из вас самый бывалый?

— Я, — говорит бывший солдат Каннинхен, — я уже три дня здесь и выпил столько воды, что остальную и хлебать не стоит!

— Что же касается меня, — говорит бывший солдат Притцель, — то я здесь тоже три дня и волочу на себе двадцать четыре рака, которых постоянно нужно кормить!

— Ха-ха-ха! — хохочет почтенное собрание, — старина Принцель все тот же, никогда не меняется!

— Хорошо, — говорит бывший солдат Шванке. — Принцель и Каннинхен, слушай мою команду, цель — обер-лейтенант Питц, шагом марш!

Начинается возня, обер-лейтенанта внезапно хватают за ноги и с весьма аппетитным бульканьем тащат под воду.

— *Prosit*![79] — добродушно шепчут вороны Илья Осипович и Акакий Акакиевич.

— *Prosit, prosit,* — хрипит на ухо захватчику бывший солдат Принцель. — И вы увидите, *mein Herr,* вы увидите, что камыши вовсе не так уж плохи на вкус, если начинать есть их с корней!

— Назад! — орет генерал-барон. — Вы что, не видите, кто я?

— *Zu Befehl! Zu Befehl!* — радостно вопит почтенное собрание, окружая его со всех сторон.

— Я ведь ваш полководец, я привел вас в Польшу, во Францию…

— И на Волгу! — в сердцах кричит почтенное собрание. — Не забудьте про Волгу, *mein Herr!* Ведь от волжской водицы, если достаточно ее выпить, даже у собаки пропадает уважение к своему хозяину!

— Немецкие мертвецы! — вопит генерал барон, чувствуя, как ствол дерева, на котором он сидит, уходит под воду. — Прочь! Это приказ!

— *Zu Befehl! Befehl!* — бормочут немецкие мертвецы, и бывший генерал барон фон Ратвиц медленно опрокидывается на спину, вскидывает руки и окончательно исчезает под водой.

---

[79] Примечания: 79
Ваше здоровье! *(нем.)*

— Только после вас, Акакий Акакиевич! — вежливо бормочет Илья Осипович, медленно спускаясь вниз.

— Какие пустяки, Илья Осипович… только после вас!

— Ну что ж, тогда за ваше здоровье, Акакий Акакиевич, за ваше здоровьице…

— Нет, за ваше… *Mahlzeit! Mahlzeit*![80]

Добранский остановился и выпил чаю.

— Вкусный сегодня! — заметил он. — Морковки почти не слышно!

Пех решил заново «гальванизировать» аудиторию.

— Да здравствует народный сказочник польской освободительной войны, наш товарищ Адам Добранский! — выкрикнул он.

— Браво, браво! — поддержали его партизаны.

Пех решил, что пришло время завоевать себе толику личной популярности.

— Да здравствует Пех! — смело предложил он.

— У-у-у! Долой, долой! Ложись! В конуру!

Расстроенный Пех повернулся спиной к публике и весь ушел в приготовление картошки. Добранский продолжил:

---

[80] Примечания: 80
Приятного аппетита! *(нем.)*

Несколько минут спустя, слегка отяжелев, оба приятеля спускаются на ветку любимого дуба. К своему неописуемому удивлению, они сталкиваются там нос к носу с тощим, нескладным вороном с длинной, гибкой шеей и поразительно острым клювом.

— Клянусь своим первым оперением! — восклицает Илья Осипович. — Да это же сам Карл Карлович из Берлина, из плоти и крови!

— Из одних костей! *Ach!* Из одних костей! — охает ворон с сильным германским акцентом.

В царские времена немецкий ворон Карл Карлович обосновался в России и сумел обеспечить себе прекрасное положение при Дворе. С ним водил дружбу сам царь. Он часто задерживался у окна дворца и, как только замечал, что Карл Карлович не удовлетворен банальным лошадиным навозом, тотчас велел домочадцам спускаться во двор и потчевать фаворита отборным куском. Вскоре все придворные начали бороться за благорасположение Карла Карловича, и отныне министры теряли сон, узнав, что фаворит отказался почтить своим вниманием их скромную лепту: то был верный признак неминуемой опалы. Царь и вправду придавал большое значение вкусу и выбору своего фаворита, поскольку при-

нято было считать, что птица способна судить о приближенных царя по материалу, из которого они сделаны.

— Каким ветром в наши края, Карл Карлович? — каркает Илья Осипович. — Верно, увеселительное путешествие? Немножко туризма, как это мило!

— *Ach!* — вздыхает Карл Карлович. — Бог свидетель, я предпочел бы прилететь на Волгу в лучшее время… Эта война, *ach!* просто какое-то недоразумение!.. Вот послушайте, несколько дней назад я был на званом вечере в замке барона фон Риббентропа! Надобно вам пояснить, друзья мои, что при фюрере я занимаю точно такое же положение, какое занимал встарь при царе… Иными словами, меня всюду приглашают. У барона был чудесный праздник, сливки общества, изысканная музыка, лучшие французские вина… Но я ничего этого не видел, а сидел в уголке и плакал, плакал! И вдруг, *ach!* что я вижу? Ко мне подходит барон фон Риббентроп.

«Почему ты так горько плачешь, немецкий ворон Карл, *ach!* почему?»

«*Ach!* Иоахим, я плачу, — отвечаю я. — Как же мне не плакать? Бедная Россия, *ach!* бедная Россия…»

«*Ach* — говорит барон, — бе… бедная Россия!»

И тоже расплакался… Какое зрелище, какое воспоминание! И вдруг, *ach!* что я вижу? К нам подходят жена и дочь барона.

«Почему вы так горько плачете, *meine Herren, ach!* почему?»

«*Ach!* Куколка, *ach!* Гретхен, — отвечает барон. — Мы плачем. Как же нам не плакать? Бе… бе… бедная Россия!»

«*Ach! ach!* — говорит Гретхен, и: — *Ach! ach!*» — говорит Куколка, и вот они тоже расплакались.

Честные, благородные женщины! И тогда все гости подходят и изумленно обступают нас.

«*Ach!* Почему вы так горько плачете, *ach!* почему?»

«*Ach! ach!* — отвечаем мы сквозь слезы. — Бе… бедная Россия!»

«*Ach!* бе… бедная Россия!» — говорят гости и тоже начинают плакать.

Ach! Какое зрелище, какое воспоминание! Я плачу, барон плачет, Куколка плачет, Гретхен плачет, оркестр плачет, гости плачут, лакеи плачут… Все плачут, у всех слезы текут ручьем.

«*Ach!* — всхлипывая, говорит мне барон. — *Ach!* немецкий ворон Карл. Ты имеешь большое влияние на нашего фюрера… Пойди, объясни

ему. Спаси Германию… Я хочу сказать: спаси Россию!»

Я лечу над Берлином в слезах. Какое зрелище, какое воспоминание! Вдовы плачут, матери плачут, дочери плачут, сестры, невесты и маленькие сиротки плачут; все плачут, у всех слезы текут ручьем! Войска маршируют, рыдая. Я прилетаю во дворец, обо мне докладывают, я вхожу… *Ach!* Какое зрелище, какое воспоминание! Перед картой России сидит фюрер… и плачет! Льет горькие слезы…

Карл Карлович останавливается и откладывает немножко помета.

— Искренние слезы фюрера!

— *Ach!* — добродушно вздыхает Илья Осипович. — И как же так получилось, милейший, что вы теперь на Волге, вдали от родимого навоза?

— *Ach! ach!* — тотчас встрепенулся Карл Карлович и заломил себе крылья. — Какая драма, какое воспоминание… Берлин бомбили, меня бомбили… Фюрера, фюрера бомбили! Но я оставался там, у его двери, преданный до конца, немецкий ворон до последнего перышка! И вдруг, *ach!* что я вижу? Дверь резко отворяется, и из нее выбегает — бледный, но решительный — фюрер, а за фюрером выбегает Геринг, а за Герингом выбегает

Геббельс, а за Геббельсом выбегает генерал фон Катцен-Яммер! Все бледные, но решительные!

«Немецкий ворон Карл! — кричат они. — В камине бомба замедленного действия! Сделай же что-нибудь! Спаси фюрера, Карл».

И что же я делаю, я, немецкий ворон Карл? Я становлюсь на колени и со слезами в голосе говорю:

«Ach! Жить и умереть за фюрера!»

И шмыг — в окно. И фюрер за мной шмыг — в окно, а за фюрером Геринг шмыг — в окно, а за Герингом Геббельс и фон Катцен-Яммер — шмыг, шмыг в окно! Все бледные, но решительные! И вот мы уже на улице. А бомбы так и сыплются, так и сыплются…

Карл Карлович выпускает целую струю помета.

— И что же я делаю потом, я, немецкий ворон Карл? Я становлюсь на колени и со слезами в голосе говорю: «Жить и умереть за моего фюрера!»

И — шмыг, шмыг, шмыг, побежал. Бледный, но решительный.

«Отважный, благородный Карл!» — говорит фюрер и — шмыг, побежал.

«Отважный, благородный Карл, благослови тебя, Господи!» — говорит Геринг и — шмыг,

побежал.

«Отважный Карл, благородный рыцарь!» — говорят Геббельс и фон Катцен-Яммер и — шмыг, шмыг, побежали.

Бледные, но решительные! И в благодарность за то, что я спас ему жизнь, фюрер отправил меня на Волгу…

«Лети, — растроганно сказал он мне. — Лети туда… там есть чем поживиться!»

На ветке воцаряется минутное молчание, затем Акакий Акакиевич прикрывает один глаз и говорит:

— Вы так долго выступали, Карл Карлович. В горле, поди, пересохло?

— Право слово, — бесцеремонно отвечает Карл Карлович, — от рюмашки водки я бы не отказался… Что вы делаете, *ach!*

Карл Карлович испуганно каркает и пытается высвободить свои крылья, но час старого немецкого ворона пробил. Два русских ворона сжимают его в своих когтях. Его длинная тощая шея и самый длинный, самый острый и самый прожорливый в мире клюв моментально погружаются в Волгу. «Буль-буль-буль! — утоляет жажду старый немецкий ворон. — Буль-буль-буль!..» Силы оставляют его, крылья перестают

биться, а немецкие когти — хватать…

— *Prosit!* — благоговейно шепчут Илья Осипович и Акакий Акакиевич.

Несколько минут спустя два приятеля вновь кружат над водой. Они внимательно осматривают камыши и островки, выброшенные на берег густые ветки и песчаные отмели и, не видя ничего подходящего, обращаются к Волге.

— Мать рек русских, не поймала ли ты чего-нибудь интересненького? — каркают они своими заискивающими голосами.

Всем известно, что вороны — прирожденные подхалимы, и Волга вот уже больше века знает этих двух приятелей. Но сегодня она в хорошем настроении.

— Летите сюда, вот еще один мой ухажер! — мычит она, обнимая лейтенанта, чей брошенный танк горит на берегу. — Вы уже напились моей водицы, *mein Herr?* Она очень способствует пищеварению захватчиков…

— Карр, карр, карр! — хрипло хохочут Илья Осипович и Акакий Акакиевич. — До чего остроумно, мать рек русских, до чего смешно, животики надорвешь, карр, карр!

— Позвольте мне вывернуть его карманы, — мычит Волга. — Клянусь старым живодером

Мининым, это монокль! Можно, я его заберу? Вот малец Сталинград будет смеяться!

— Ох, как же он будет смеяться! — каркают приятели. — Ох, и насмешила, просто умора, карр, карр, до чего остроумно, мать рек русских!

— А это что такое? — изумляется Волга. — Советский орден и фотография русского солдата?

— Советский орден? — изумляется вслед за ней Илья Осипович и смотрит на Акакия Акакиевича.

— Фотография русского солдата? — удивляется, в свою очередь, Акакий Акакиевич и смотрит на Илью Осиповича.

— Я узнала его! — восклицает Волга. — Это Мишка Бубен из Казани. Я помню его: он все время сидел на берегу и плевал в воду.

— Мы знаем его, мы знаем его! — тут же восклицают оба приятеля. — Он разорял наши гнезда и воровал наших птенцов… Славный парнишка, симпатяга!

— И что же, позвольте вас спросить, делают этот орден и эта фотография у вас в кармане, *mein Herr?* — задумчиво бормочет Волга. — Постойте, я, кажется, догадалась… Ура, я поняла!

— Ура, мы поняли! — хрипят с наигранной радостью приятели, выделывая антраша в воздухе.

Волга с нетерпением смотрит на них.

— И что же вы поняли, старые разбойники?

— Да, кстати, — бормочет Илья Осипович, — что же вы поняли, Акакий Акакиевич?

— А вы, Илья Осипович, что вы поняли?

Они жалобно смотрят друг на друга.

— Ничего, — смиренно сознаются они, — мы вовсе ничего не поняли, мать рек русских! Будьте так безгранично добры, просветите наши темные мозги двух старых ощипанных пичужек!

— Я все поняла, — говорит Волга, — и поэтому, *mein Herr*, я, к сожалению, не могу больше позволить вам цепляться за эту ветку. Мне уже не смешно.

— *Nein! Nein*![81] — кричит несчастный захватчик.

— *Ja, ja*![82] — торжествующе каркают оба приятеля, а Волга тянет своего нового ухажера на дно и держит его там, пока немец вдоволь не напьется…

А два приятеля уже летят дальше. Они осторожно приближаются к какому-то телу, которое с необычайной нежностью несет на руках Волга.

---

[81] Примечания: 81
Нет! Нет! *(нем.)*

[82] Примечания: 82
Да, да! *(нем)*

— Хм? — неуверенно хмыкает Илья Осипович.

— Хм! хм! — подбадривает его Акакий Акакиевич, и они медленно начинают спускаться… Но Волга вдруг испускает такой крик, что оба приятеля взмывают к небу, изо всех сил махая своими старыми крыльями.

— О господи, я чуть не помер со страху! — каркает Илья Осипович. А у Акакия Акакиевича перья встали дыбом до самого клюва.

— Вон отсюда, стервятники! — кричит Волга и покрывается пеной от злости. — Разве вы не видите, что это русский солдат?

— О господи! — восклицает Илья Осипович. — Какая ужасная ошибка!

— Какое трагическое недоразумение! — подхватывает Акакий Акакиевич.

— Прости наши старые глаза, мать рек русских!

— Что с нас взять? Мы ведь уже на ладан дышим!

— Не могли бы мы чем-нибудь помочь ему, мать рек русских?

Но мать рек русских отвечает им на богатом и звучном русском языке таким страшным ругательством, что приятели в ужасе переглядываются, зарывают головы в перья и улетают

в лес…

— Ничего страшного, — лепечет Илья Осипович, встряхивая взъерошенными перьями, — я и не думал, что матушка Волга умеет так выражаться!

— Я хочу уснуть и обо всем забыть, — с отвращением шепчет Акакий Акакиевич. — Клянусь своим родовым гнездом! Вот чему она научилась у паромщиков и казаков.

— Не горюй, мой маленький Васенька-Васенок, — нежно шепчет Волга, неся белокурого солдата на своих материнских руках. — Есть погосты намного печальнее Волги. Я отнесу тебя в укромный уголок, куда еще не ступала ничья нога, ни человека, ни зверя, в зеленые камыши одного островка, — и ты сам, мой Васенок, станешь волной, камышом, мягким песком и островом, что, в конечном счете, намного приятнее, чем служить удобрением для картошки или лука…

И она тихо поет ему старую казацкую колыбельную:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю…
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою….

Позднее, когда они вышли пройтись по мосткам над замерзшим болотом, чтобы в синей ночи, под сверкавшим тысячами победных огней небом остудить разгоряченные головы, Янек спросил у Добранского:

— А ты любишь русских?

— Я люблю все народы, — сказал Добранский, — но не люблю ни одной конкретной нации. Я патриот, но не националист.

— А в чем разница?

— Патриотизм — это любовь к своим. А национализм — ненависть к другим. К русским, американцам, ко всем… В мире нарождается великое братство — мы обязаны немцам, как минимум, этим…

32

После Сталинграда несколько недель они жили в счастливом опьянении, и голод казался им не таким мучительным, а мороз — не таким жгучим. Но к концу февраля запасы продуктов окончательно иссякли. Янеку пришлось раздать свою последнюю картошку, и вскоре они вынуждены были рыться онемевшими руками в снегу в поисках каштана, желудя или шишки. По ночам братья Зборовские бродили по деревням, выпрашивая милостыню или угрожая, но всегда возвращались с пустыми руками, а пару раз их даже избивали изголодавшиеся крестьяне. Некоторые одиночки уже сдались немцам, доведенные до полного отчаяния партизаны выходили из леса и бросались под пули немецких дорожных патрулей… Но вскоре поползли слухи, что в лесу видели Партизана Надежду: главнокомандующий пришел, чтобы лично участвовать в борьбе. Они были убеждены в том, что слух правдив, поскольку такой поступок был в духе этого человека. Он имел привычку внезапно появляться там, где борьба становилась особенно трудной,

и почти всегда вливался в ряды бойцов, когда их вот-вот могли покинуть надежда и мужество.

— Махорка божится, что видел его на железнодорожных путях, в том самом месте, где Кублай дал свой последний бой, — сообщил им Громада. — А потом он видел его в часовне Святого Франциска перед алтарем — там, где убили отца Бурака. И слышите: он был в мундире польского генерала — и это среди бела дня!

Добранский улыбнулся.

— Не знаю, видел ли его Махорка на самом деле или же он по обыкновению врет, — сказал он. — Но я знаю, что он здесь, среди нас, в этом я уверен.

Янек обнимал Зосю. Они сидели у костра, накрывшись овчиной, доставшейся им от Тадека Хмуры. Он посмотрел на студента с некоторой иронией: Янек уже начинал понимать, кто их легендарный командир. И теперь он знал, где тот прячется.

— Я сам видел его, — спокойно заявил он.

Громада застыл с разинутым ртом.

— Что? Где? Где ты его видел?

— Здесь. Я видел его здесь. Мало того, вижу его сейчас. Он сидит рядом с тобой.

Громада нахмурил густые брови.

— Слишком ты молод еще, чтобы подтрунивать над стариками, — пробурчал он.

Но Добранский был поражен. Он посмотрел на Янека долгим взглядом, затем наклонился, обнял его за плечи и молча, с любовью потрепал по спине.

Пережить зиму маленькому партизанскому отряду помогли чудом захваченные сто килограммов картошки. В тот вечер братья Зборовские спустились в землянку, как обычно, с пустыми руками.

— В Пясках убили пана Ромуальда, — сообщили они. — Сегодня утром в деревню прибыл карательный отряд.

— И это лишь цветочки! — проворчал Крыленко.

— Похоже, кого-то выдал Сопля. Немцы обещали сто килограммов картошки в виде вознаграждения…

Утром в округе бушевала метель, и вечером на улицах Пясок снег доходил до колен: немецкие гусеничные транспортеры были похожи на огромных, беспомощных, упавших на спину шмелей, а танк гауптмана Штольца, командира отряда, увяз посреди площади перед мэрией и не мог сдвинуться с места. Штольц вылез из танка

— монокль у него в глазу напоминал льдинку, — выругался и дошел до дома пешком. Затем провел несколько бесед с наиболее известными жителями деревни. Но, несмотря на угрозы и брань, которыми эти беседы сопровождались, лица селян оставались такими же пустыми и ничего не выражающими, как заснеженная *no man's land*[83], где герр гауптман Штольц только что оставил свой танк. И только краткая беседа со столяром Соплей оказалась по-настоящему полезной. Сопля сразу же произвел на Штольца благоприятное впечатление: в отличие от лиц его предшественников, его лицо вовсе не было лишенным выражения: оно было усталым, покорным и бледным.

— Мерзкая погода, — для начала грозно сказал Штольц.

Сопля тотчас же рассыпался в извинениях. С дрожащим подбородком заверил он герра гауптмана, что, хоть метель и совпала с прибытием немецкой колонны, в этом не было никакого злого умысла и что, во всяком случае, он, Сопля, тут ни при чем. Он, Сопля, слишком уж обеспокоен судьбой своих детей и жены, которые вот уже

---

[83] Примечания: 83
Ничейная территория *(англ.)*.

двое суток ничего не ели, и ему недосуг чинить препятствия на пути герра гауптмана. Штольц счел такое начало многообещающим, разразился гневом, сказал о дерзости, диверсии и провокации, и, в конце концов, сам не зная, почему, несчастный Сопля пообещал заставить солнце светить, запретить снегу падать и, в порыве рвения, даже предложил лично остановить ветер и выдать его герру гауптману связанным по рукам и ногам. Будучи классным стратегом, Штольц быстро воспользовался этим первоначальным успехом, и полчаса спустя два немецких солдата отнесли в дом Сопли мешок со ста килограммами картошки. В восемь часов, когда на улице затвердел снег, из темноты вышел немецкий патруль. Солдаты шагали в ногу. Снег скрипел у них под сапогами, и Сопля, бежавший впереди, прижимаясь к стенам домов, и не успевший даже попробовать картошки, которую сейчас отрабатывал, с удивлением обнаружил, что точно такой же звук издают жующие челюсти. Он думал только об одном: поскорее закончить работу, вернуться домой и съесть целую тарелку дымящейся картошки. «Кубус на меня не обидится, — рассуждал он с абсолютной уверенностью, порожденной голодом. — Он верный и умный

друг. Он меня поймет». Патруль возглавлял капрал Клепке из Ганновера. «В такую погоду и носа на улицу не высунешь, не говоря уже о том, чтобы дезертировать», — думал этот вояка с невыразимой досадой, отчасти вызванной тем фактом, что он воевал уже целый год и ни разу не был в увольнении.

— Здесь, — сообщил Сопля сдавленным голосом.

Клепке поднял фонарик; вверху над витриной висела дощечка с надписью: «И. Петрушкевич, *Paczki, ciastka, woda-sodowa*».[84]

— Ну? — спросил Клепке. — Чего же ты ждешь?

Почерневшее, осунувшееся от голода и тревоги лицо Сопли сморщилось, как картошка:

— Будить его вот так… Из-за пустяков…

— Не из-за пустяков, — рассудительно заметил капрал, — а для того, чтобы пустить ему пулю в лоб.

Он подошел к двери и постучал. Они подождали немного, затем сонный голос спросил:

— Кто там?

— Свои! — жалобно ответил Сопля. — Открой,

---

[84] Примечания: 84
Кондитерские изделия, газированная вода *(польск.)*.

Кубус!

Дверь широко отворилась. Солдаты вошли внутрь, Сопля просеменил за ними. Петрушкевич был в ночной рубашке, надетой поверх брюк с волочащимися по полу подтяжками. У него было пухлое, грустное лицо.

— Апчхи! — чихнул он.

Сопля поспешно закрыл дверь и объяснил капралу:

— У него слабые легкие. В детстве он постоянно болел. Его бедная матушка еле его выходила. Ему бы в горах жить.

— Горы иногда помогают, — согласился Клепке.

Сопля подошел к другу.

— Ты не обижаешься на меня, Кубус?

— Нет. Сто килограмм картошки — это достойное оправдание…

— Откуда ты знаешь?

— Об этом вся деревня знает.

Сопля рухнул на табурет и расплакался.

— Ну-ну, не падай духом! — поддержал его кондитер.

— Я не знал настоящих виновников! — рыдал Сопля. — Я не мог указать на кого попало: они бы отомстили мне и моей семье… И тогда я стал ис-

кать того, на кого бы я смог положиться, верного, испытанного друга…

— Я благодарен тебе, — сказал Петрушкевич. — Можешь сделать кое-что для меня взамен?

— Все, что угодно, — сказал Сопля от простоты душевной.

— Эта картошка… Не мог бы ты прислать пару кило моей жене?

— Я принесу ее сам завтра же утром! — пообещал Сопля.

Капрал Клепке отдал приказания. Оба друга обнялись.

— Спасибо за картошку! — сказал Петрушкевич.

Сопля открыл рот, но не смог ничего сказать в ответ.

— Ну же, — ободрил его кондитер. — Будь мужчиной, Сопля.

Он взял из комода бутылку и пару рюмок.

— Выпей.

Сопля выпил.

— Выпейте и вы тоже, — предложил Петрушкевич солдатам.

— Вы так учтивы, — заметил Клепке. Он поднял свою рюмку. — Ваше здоровье!

— Взаимно.

Они чокнулись.

— Что ж, — сказал Клепке, — теперь, если позволите…

— Ну конечно, — поклонился Петрушкевич. — По крайней мере я не буду больше голодать!

Подавленный и шатающийся Сопля отвернулся и заткнул уши. Петрушкевич получил пулю прямо в грудь. Он крутнулся на месте, упал и застыл. Солдаты быстро вышли; капрал, уходивший последним, прихватил бутылку с собой. Сопля последовал за ними. Он понимал, что должен был остаться и утешить вдову друга, но решил сделать это завтра, когда принесет картошку. «Бедняжка будет так счастлива!» — подумал он. Они вновь очутились на улице, Сопля шагал быстро, спеша поскорее с этим покончить и мечтая о большой тарелке, ждавшей его дома: о нежной, белой, ароматной мякоти… Опьяненный этой картиной, он, не задумываясь, решительно постучал в дверь, когда фонарик капрала осветил вывеску: «Портной З. Магдалинский. Первоклассный покрой. Сиюминутная утюжка. Умеренные цены». Никто не открыл. Он постучал еще раз. Капрал Клепке с задумчивым видом смотрел на вывеску, так, словно бы спрашивал себя, не прогладить ли ему брюки по умеренной цене: увы, он не знал

польского. Вне себя от холода, солдаты принялись колотить в дверь прикладами. За дверью тотчас раздался женский голос — видимо, женщина стояла там уже давно:

— Ну кто там?

— Мое почтение, пани Марта, — сказал Сопля. — Мы пришли к вашему мужу.

— Его нет дома.

— Хватит болтать! — закричал Клепке по-немецки. — Открывайте дверь!

Дверь отворилась. Наступила мертвая тишина: солдаты широко раскрывали глаза и поднимались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Под хлопчатобумажным пеньюаром женщина была совершенно голой.

Казалось, ей совсем не холодно: напротив, замерзшие лица мужчин почувствовали исходившее от нее тепло. Те части ее тела, которых не было видно, нетрудно было себе представить, а те, которые были видны, не вызывали желания закрыть глаза. Пани Марта была высокой брюнеткой с большими, бесстыжими кошачьими глазами зеленого цвета и влажным ртом, словно бы распухшим от поцелуев.

— *Mein Gott!* — тихо, но отчетливо произнес самый молодой немецкий солдат.

— Отвернись! — строго приказал самый старший, знавший его родителей и обещавший им присматривать за мальцом.

— Молчать! — неожиданно приказал капрал сорвавшимся на фальцет голосом. Он кашлянул. — Молчать! — повторил он. — Где ваш муж?

— Его нет дома.

Женщина повернулась к Сопле.

— Иуда! — прошептала она.

Сопля хотел было возразить, но в ту же секунду услышал в глубине какой-то треск.

— Что это? — спросил Клепке.

— Откуда мне знать? — сказала женщина. — Кошка, наверное.

Она встала в дверном проеме. Клепке оттолкнул ее. Она упиралась, и у нее оголилась одна грудь с розовым торчащим соском, которую она даже не попыталась прикрыть. Самый молодой солдат и сосок посмотрели друг на друга: солдат опустил глаза первым.

— *Ach!* — глухо вздохнул он.

— Отвернись, несчастный! — велел старший. — Прикройся, ведьма!

— Я не такая, как твоя жена, — прошипела пани Марта, — и не стыжусь показывать того, что у меня есть!

— Вперед! — приказал Клепке.

Они оттолкнули ее и ворвались в дом. Комнату почти целиком занимала широкая кровать со съехавшими к подушкам простынями, сбившимися в кучу одеялами и свалившимися на пол перинами. В доме никого не было.

— Я же говорила вам, что это кошка! — закричала пани Марта.

В самом деле, послышалось очень тихое мяуканье.

— Кс-кс-кс! — позвал самый молодой солдат, любивший животных. — Под кроватью, наверно…

Он наклонился и засунул руку под кровать. Внезапно его взяла оторопь.

— *Ach!* — слабо вздохнул он.

Капрал Клепке быстро заглянул под кровать.

— Вылезай!

Оттуда медленно и нехотя вылез человек. Пожилой и тучный. Красивым его назвать было трудно. Он весь покрылся гусиной кожей.

— Котенок, да? — прохрипел Клепке.

— Но я умею мяукать! — обиженно сказал человек.

Клепке отдал приказ. Солдаты схватились за винтовки.

— Стойте! — вдруг закричал Сопля. — Это не портной Магдалинский!

— *Mein Gott!* — воскликнул самый молодой солдат, с уважением глядя на незнакомца.

Наступила пауза.

— Но тогда кто же это? — спросил Клепке.

— Не знаю. Он даже не из нашей деревни. Я никогда его раньше не видел.

Человек обмотался одеялом и обратился к капралу. Он говорил на чистейшем немецком языке.

— Моя фамилия — Шмидт. По происхождению — немец. Я работаю здесь на военные власти…

— Здесь? — в ужасе вскрикнул самый молодой солдат.

— Не слушай! — приказал старик. — Заткни уши!

— Я хотел сказать: в Вильно. У меня с армией контракт на перевозки. Я на очень хорошем счету у вашего начальства, капрал, и если хотите совет, уходите отсюда. Человека, которого вы ищете, здесь нет.

— Где же он?

Шмидт пожал плечами.

— Почем мне знать? Меня интересует не он, а его жена. Наверно, живет в лесу, с партизанами.

Он разбойник.

Вновь наступила пауза. Потом Сопля завыл. Он уже давно трясся от злости. Ему было больно за своего друга Магдалинского. Значит, портной ушел к партизанам и служил своей стране. А тем временем его жена бесстыдно изменяла ему с вражеским шпионом. Соплю потрясли низость и подлость подобного поведения.

— Сука ненасытная! — завопил он. — Бесстыжая…

Но пани Марта не дала ему договорить.

— Мне не стыдно! — прошипела она. — Он приносит мне еду! Мой муж даже на это не способен! Ты тоже на это не способен, Сопля. Если бы твоя жена была лет на двадцать моложе, она занималась бы тем же, что и я!

Сопля боязливо попятился. А немцы во главе с капралом Клепке сначала улыбнулись, а потом захохотали. Пани Марта какое-то время смотрела на них с презрением. Потом ее охватил гнев.

— Над кем смеетесь? — закричала она. — Над собой? Вы же все как один женаты! Вы оставили своих жен и невест в Германии! И они, ваши жены, занимаются тем же, что и я! Да-да, мои голубчики! Одни — от скуки; другие — потому что им это нравится; а третьи — для того чтобы

поправить свои дела!

Первым перестал смеяться капрал Клепке. В Ганновере у него осталась молоденькая жена. В начале разлуки он еще получал от нее письма. Но теперь они приходили все реже. И самое главное — изменился их тон. Она больше не просила своего *Susser*[85] вернуться, как это было вначале, и перестала жаловаться на одиночество. Это поражало капрала Клепке, и в его душу закрадывались подозрения. Обычно он старался не думать об этом, но сейчас эта женщина… Остальные женатые солдаты предавались аналогичным раздумьям. Они враждебно смотрели на Шмидта и по-своему сочувствовали портному Магдалинскому. Он был, конечно же, партизаном и врагом, но они чувствовали свое родство с ним: родство мужчин, обманываемых своими женами, пока они сражаются на фронте.

— Ну, что? — спросила пани Марта. — Почему же вы не смеетесь?

Мужчины переглянулись. Ничего не сказали, не задали ни единого вопроса, но все одновременно поняли, что они сейчас сделают. Их соглашение было молчаливым и мгновенным. Даже побе-

---

[85] Примечания: 85
Милого *(нем.)*.

дитель Клепке и жалкий побежденный Сопля переглянулись и поняли друг друга без слов.

— Ты уверен, что это не портной Магдалинский?

— Я не могу сказать точно, — ответил Сопля. — Я давно его не видел. Может, это он. А может, и не он. Не могу вам сказать.

— Рассмотри его получше.

— Вот я и смотрю, — сказал Сопля, искоса посматривая на него.

Шмидт забеспокоился.

— Что это за комедия? Документы у меня в порядке. Они в куртке. Я могу вам их показать.

— Ни с места! — приказал Клепке.

Он думал о жене. Год тому назад, когда они расстались, она плакала. Они недавно поженились. Прожили всего две недели вместе. Он вспоминал ее горячее тело, жгучие ласки. Мысль, которую ему долгое время удавалось от себя отгонять, потрясла его теперь своей очевидностью: его жена не могла больше года прожить одна. Она завела себе любовника. У нее любовник, ласкающий ее каждый вечер, пока он, Клепке, растрачивает жизнь и силы в этих проклятых снегах… У нее мужчина — наверняка, уклонившийся от службы, один из тех, кто наживался на войне.

Кому от нее польза, от этой войны? Вовсе не тем, кто уходит на фронт: они погибают, а если даже возвращаются, то находят домашний очаг разрушенным. Нет, она приносит пользу тем, кто остается. Таким, как Шмидт, который отнимает у тебя жену, пока ты далеко… Он приказал:

— Приготовиться!

Шмидт побледнел как смерть.

— Мои документы в порядке. Разрешите показать вам свои документы, капрал. Это избавит вас от затруднений. У меня высокопоставленные друзья. Я — член партии. Вы говорите с немецким подданным, капрал. Не забывайте об этом…

«Почему бы не избавить мир хоть от одного немецкого подданного?» — подумал вдруг Сопля.

Он шагнул вперед и заявил:

— Это Магдалинский! Теперь-то я его узнал!

На улице Клепке дружески потрепал Соплю по спине и пожелал ему доброй ночи. Он был в отличном настроении.

— Член партии, — проворчал он. — Член партии, как вам это нравится?… *Gute Nacht, Herr Sopla!*

Он увел за собой патруль. Сопля вернулся домой. Сказал жене:

— Быстрее. Умираю от голода.

— Все готово.

В ту же секунду в дверь постучали.

— А я-то думал, все кончилось, — сказал Сопля.

Он отворил дверь. В дом быстро вошли трое братьев Зборовских, а за ними — Янек.

— Добрый вечер.

Губы Сопли зашевелились, но с них не слетело ни звука.

— Вечер добрый, — сказала его жена. Ее руки нервно сжимали край фартука. Янек смотрел на них. Руки были усталыми, красными и потрескались от стирки. Они казались даже более старыми и морщинистыми, чем лицо. Словно существовали отдельно, и искривленные пальцы их выражали еще больше немой боли, чем лицо и глаза.

— Я не боюсь, — сказал Сопля. — Хватит с меня…

Его жена подошла к шкафу. Открыла его и начала вынимать праздничную одежду мужа.

— Только сперва я хочу поесть.

— Где мешок? — спросил старший Зборовский.

Янек посмотрел на ее руки. Он увидел, как их пальцы сжались, сцепились в извечном, старом, как само горе, жесте.

— Вы не посмеете, — сказала женщина. — У

меня дети. Вы не посмеете убить отца и забрать мешок.

— Мы не собираемся его убивать. Нам нужен только мешок.

— Лучше убейте его!

— Стефа, — взмолился Сопля, — Стефа…

— Убейте его, — вопила она, — убейте его!..

Они уже вышли на улицу и брели по снегу, сгибаясь под своей драгоценной ношей, но все еще слышали ее крик:

— Убейте его!

И умоляющий голос Сопли:

— Стефа, Стефа…

И весь мир представился вдруг Янеку одним громадным мешком, в котором перекатывалась бесформенная груда слепых, мечтательных картофелин — человечество.

33

В лес, погребенный под ледяным покровом, в котором пихты утопали порой по самые верхушки и где царила такая глубокая тишина, словно перед концом света, продолжали поступать известия со всех подпольных фронтов, где велась неослабевающая борьба; из Греции, Югославии, Норвегии и Франции до них долетали тысячи дуновений жизни, тысячи пульсаций упорной, тайной надежды; партизаны вновь обретали в этих сигналах, приходивших из стран, зачастую таких же далеких, как звезды, которые они знали только по названиям, отзвук собственной решимости, своего упорного нежелания отчаиваться: поговаривали, что Партизан Надежда находился одновременно повсюду. Янек давно уже перестал задаваться вопросом, кто он такой. Теперь он только улыбался, когда какой-нибудь товарищ, сидя у костра, серьезно рассказывал о легендарных подвигах их главнокомандующего.

— Видать, прошлой ночью он вновь бомбил Берлин: камня на камне не оставил.

И партизаны удовлетворенно попыхивали

трубками.

— В Югославии он довел немцев до белого каления. Правда, там, в горах, это гораздо проще, чем здесь, на равнине.

— Он и здесь здорово потрудился.

— Теперь ясно, что это он возглавил евреев варшавского гетто. Говорят, они восстали и бьются, как львы.

— Идея возникла у нас примерно два года назад, — объяснял Добранский, гуляя ночью с Янеком. — Это было ужасное время: почти все наши командиры пали в бою или немцы взяли их в плен. Чтобы придать самим себе мужества и сбить с толку врага, мы выдумали Партизана Надежду — бессмертного, непобедимого командира, которого не может поймать ни один враг и ничто не способно остановить. Мы выдумали легенду, подобно тому, как люди поют ночью, чтобы придать себе смелости, но очень скоро она обрела реальную, осязаемую жизнь и наш герой действительно стал жить среди нас. Появилось ощущение, будто все и вправду подчиняются приказам какого-то бессмертного человека, до которого не могут добраться никакая полиция, никакая оккупационная армия и вообще никакая материальная сила.

И всякий раз, когда Янек слушал музыку или когда Добранский, раскрыв свою школьную тетрадку, читал ему один из своих рассказов, в которых звучало эхо людского мужества, его охватывала какая-то радость, почти беззаботность — так, словно бы его только что коснулось дыхание вечности. И когда он обнимал Зосю или прижимался к ней щекой, когда стоял на часах в заснеженном лесу, одиноко ожидая рассвета, дрожащий и испуганный, с гранатой в руке и тьмой за спиной, рядом с ним неожиданно вставал легендарный партизан, обнимал его за плечи, и Янек ощущал вокруг присутствие абсолютной уверенности — уверенности в непобедимости человека. Теперь он знал, что отец ему не лгал — ничто важное никогда не умирает.

Даже немцы в конце концов поняли, кем был этот непобедимый враг, которого им не удавалось схватить; узнали, где он прячется и сколь бесплодны все их усилия уничтожить его, вырвать его из миллионов воодушевляемых им сердец. Сам Гитлер отдал из Берлина строгие приказания всем генеральным штабам гестапо в Польше, которые были позднее зачитаны на Нюрнбергском процессе; все попытки установить личность и арестовать так называемого Партизана Надежду

должны быть немедленно прекращены, «поскольку вражеского шпиона под таким именем не существует». Отныне в официальной переписке запрещалось упоминать об «этом мифическом персонаже, который был выдуман врагом в целях пропаганды и психологической войны». Братья Зборовские сумели раздобыть копию этих приказов через одного немецкого шпиона, пытавшегося теперь снискать расположение партизан, и Добранский прочитал их, переводя циркуляр страницу за страницей под взрывы хохота и насмешливые выкрики: им казались в высшей степени комичными эти усилия обезумевшей полицейской бюрократии отрицать существование того, что живет в них с такой силой, наполняет их легкие и поет в каждой клеточке их крови.

И все же, сидя вместе с другими партизанами на этой читке и слушая, как они издеваются над смехотворными попытками угнетателей совершить невозможное, Янек вдруг ощутил грусть и почти отчаяние: впервые он окончательно убедился, что его отец мертв. Зося уловила эту тень грусти на его лице и робко сжала ему руку, но Янек сказал ей не по годам горьким голосом рано повзрослевшего человека с жизненным опытом, который оставил в нем след зрелости, лишенной

всяких иллюзий:

— Добранский должен добавить к своему переводу пару слов. Когда говорят, что ничто важное не умирает, это означает только то, что человек либо уже мертв, либо его скоро убьют.

— Ты обозлился. Не надо так.

— Я не обозлился, Зося, но я понял одно: каникулы кончились. Мы прошли хорошую школу, и я всегда был примерным учеником. Мы получили замечательное воспитание. Помнишь Тадека Хмуру? Он называл его нашим «европейским воспитанием». Тогда я этого не понимал: я был еще слишком молод. К тому же, он знал, что скоро умрет, и относился ко всему с иронией. Но сейчас я все понял. Он был прав. Европейское воспитание, о котором он так насмешливо говорил, — это когда расстреливают твоего отца или ты сам убиваешь кого-то во имя чего-то важного, когда подыхаешь с голоду или стираешь с лица земли целый город. Говорю тебе, мы с тобой учились в хорошей школе, и нас воспитали как следует.

Зося осторожно отдернула руку.

— Ты больше не любишь меня.

— Как ты можешь так говорить? Почему?

— Потому что ты несчастлив. Если кого-нибудь любишь, ничто не может сделать тебя несчаст-

ным. Видишь, я тоже кое-чему научилась.

Янеку теперь было пятнадцать лет. Когда он шел вместе с «зелеными» по заснеженному лесу с автоматом в руке или нес на спине к какому-то передовому посту палочки динамита, спрятанные в вязанке хвороста, и когда задумчиво смотрел на капсулу с цианидом, которую, подобно всем партизанам, носил с собой, он сознавал, что выучить осталось совсем немного и, несмотря на свой юный возраст, он уже — человек опытный. Он с нетерпением ждал случая доказать, что выучил урок, что он ровня тем, с кем делил опасности жизни, но кто продолжал порой относиться к нему несколько снисходительно, словно он был еще ребенком. И пульсация свободы, это подземное, тайное биение, которое все сильнее и все ощутимее слышалось во всех уголках Европы и отзвуки которого доносились даже до этого затерянного леса, рождали у него мечты о героических подвигах и мужской доблести, что позволили бы Партизану Надежде гордиться своим самым юным новобранцем.

Отряд из десяти *Feldgraue* занимал лачугу на берегу Вилейки; то был один из многочисленных контрольно-пропускных постов, расставленных врагами вокруг леса в тщетной попытке запереть

и изолировать партизан от внешнего мира. Реку покрывал толстый лед, *Feldgraue* расчистили снег и устроили на нем каток, где часто резвились под взрывы смеха и радостные выкрики.

Янек детально разработал свой план, не рассказав о нем никому из партизан. Несколько раз в неделю он переходил реку с вязанкой хвороста на спине. Тайком выходил из леса на километр ниже поста, поднимался вверх по реке, говорил солдатам, что идет из Верок, и просил разрешения собрать дров на другом берегу реки — там, где начинался лес. Через некоторое время он переходил реку обратно, сгибаясь под своей ношей из веток, которую он иногда сбрасывал с плеч на краю катка, якобы для того, чтобы передохнуть, и с завистью наблюдал за спортивными забавами *Feldgraue.* В конце концов солдаты позвали мальчика поиграть вместе с ними. Они дали ему коньки и оказались так любезны, что пригласили его к себе на пост, угостив кофе и шоколадом.

Feldgraue чувствовали себя изолированными от мира и очень скучали; довольно скоро они приняли в свой круг маленького поляка, который не проявлял никакой враждебности и которого так легко было приручить. Они показывали ему фотографии своих жен, детей, невест и собак.

Иногда, сидя вместе с ними, слыша их смех, глядя в их лица и поедая их пайки, он чувствовал угрызения совести, и сердце у него сжималось; ему приходилось делать над собой усилие, чтобы вспомнить, что эти молодые люди — его заклятые враги.

Как-то раз он засунул между ветками несколько палочек динамита, взвалил вязанку на плечи и отправился через замерзшую реку. Был сильный мороз, *Feldgraue* сидели в сторожке, видимо, греясь у огня; труба весело дымила. На катке был всего один солдат, учившийся ездить на коньках. У него это очень плохо получалось, он поминутно падал посреди ледового круга и от всей души смеялся над своей неловкостью.

Feldgraue встретили Янека как старого друга; солдаты пили кофе, играли в карты, спали. Он сбросил вязанку в углу, выпил чашку обжигающего кофе, которую они ему предложили, и съел плитку шоколада, а затем попросил у них коньки. Он не боялся, и сердце его билось ничуть не чаще, чем обычно. Ему не давала покоя лишь мысль обо всех увиденных им вкусных вещах, которые должны были неминуемо погибнуть: обо всех этих плитках шоколада, кофе, сахаре и консервах. Ему страшно хотелось спасти эти пай-

ки и угостить ими Зосю — особенно шоколадом.

Он разъединил детонатор у себя в кармане, засунул его между ветками и кусками динамита и ушел кататься на коньках. Попытался отъехать как можно дальше от поста, но лед вокруг катка был неровным и бугристым, и ему пришлось остаться в опасной близости от дома, из трубы которого продолжал спокойно валить дым. Солдат делал отчаянные усилия удержаться на ногах, но при малейшем движении падал, ругаясь и смеясь. Между ними и домом было не больше пятидесяти метров. Время текло медленно, и Янек начал было подумывать о том, что механизм детонатора не сработал, как вдруг прогремел взрыв. Его ударило в грудь и повалило навзничь, но он тут же поднялся.

Солдата тоже опрокинуло ударной волной, и он остался сидеть на льду с разинутым ртом, расширенными, застывшими от ужаса глазами, в полнейшем изумлении глядя на развалины, над которыми поднимались клубы черного дыма. Солдат был крепкий парень атлетического сложения с белокурыми волосами, румяными щеками и голубыми глазами. Он пытался подняться, но у него не получалось, и он дважды падал, пока наконец не сумел встать на коньки. Затем он

попробовал, размахивая руками, как утопающий, подойти на коньках к берегу, упал и снова встал, и только тут заметил в руке у Янека револьвер. Он оцепенел, лицо его исказилось: нежелание верить своим глазам постепенно уступило место ужасу и отчаянию загнанного зверя; в конце концов он оторвал взгляд от оружия и попробовал бежать, но тотчас растянулся на льду. Янек прекрасно катался на коньках; он начал описывать около солдата круг, сжимая в руках подаренный отцом револьвер. Это был браунинг небольшого калибра, и нужно было подъехать вплотную, чтобы хорошо прицелиться. К счастью, солдат был не способен ни защищаться, ни бегать; пока Янек медленно кружил вокруг него, с каждым оборотом придвигаясь все ближе и ближе, он сидел на льду, поворачиваясь на заднице и не спуская с него глаз; затем предпринял еще одну попытку подняться и бежать, но упал на спину, разбросав руки и ноги, как перевернутое насекомое. После чего, похоже, смирился со своей судьбой, выпрямился и сел, ожидая выстрела и печально глядя на револьвер в руке у Янека. Когда Янек описал последний круг, оказавшись на сей раз метрах в двух от него, молодой солдат попросту наклонил голову и стал ждать. На нем

не было военной гимнастерки, а только плотный свитер и пестрый шарф, и он совершенно не был похож на солдата, когда сидел на заднице, наклонив голову с блестящими на солнце белокурыми волосами и обхватив руками колени. Когда Янек, наконец, остановился и поднял револьвер, у него внезапно появилось такое чувство, будто он собирается застрелить обычного спортсмена, поскользнувшегося на катке. Однако он, не колеблясь, сделал это.

Потом он добежал на коньках до берега, снял их и принялся рыться в развалинах домика. Небо к нему было милостиво: он нашел в целости и сохранности весь шоколад — около сотни плиток — и мешок сахара. Удалось спасти кофе и почти все консервы, главным образом — копченую рыбу. Он переходил несколько раз через реку и зарывал в снег под деревьями все, что не мог унести с собой. Затем взвалил на плечи полный мешок и углубился в чащу белого безмолвного леса, откуда порой доносился лишь вороний грай. Он чувствовал, что наконец-то перестал быть ребенком; он стал настоящим мужчиной, умелым и решительным партизаном, способным выполнить патриотическое задание и убить врага, подобно лучшим борцам за свободу. Но

это чувство восторга и мужской радости было недолгим.

Целых пять часов добирался он до того места на болотах, где укрывались отряды Крыленко, Добранского и Громады. Вероятно, от усталости или просто от нервного перенапряжения что-то в нем сломалось; поэтому, подробно отчитавшись перед партизанами о своем подвиге и сбросив им под ноги мешок с продуктами, он, вместо того чтобы отвечать на их взволнованные расспросы и наслаждаться тем, как они дружески похлопывают его по спине и восхищенно качают головами, впервые с тех пор, как ушел к подпольщикам, расплакался; его сердце странно ожесточилось; сквозь слезы он пристально смотрел на них, и взгляд его горел чуть ли не злостью. На их удивленные вопросы он лишь качал головой, а когда они наконец утихли и оставили его в покое, взял Зосю за руку и вышел с нею наружу.

Они медленно прошли по деревянным мосткам через замерзшее болото и остановились у лодки, зажатой льдом между окаменевшими камышами, и от всего того, что ему хотелось сказать, от всего того, что ему хотелось прокричать, от всего возмущения, которое его душило, осталась единственная фраза, произнесенная дрожащим,

детским голосом:

— Я хочу стать музыкантом, великим композитором. Мне хотелось бы играть и слушать музыку всю жизнь — всю свою жизнь…

Он посмотрел на окружавший его ледяной мир, где ничто не шевелилось, где все было словно обречено оставаться неизменным до скончания времен — не распускаться, не оживать, не расцветать и не возрождаться; где все было обречено оставаться таким, как в день первого злодейства, обречено убивать и умирать; где горизонт был вечно возобновляемым прошлым; где будущее было всего лишь новым видом оружия; где победы предвещали только новые битвы; где любовь была пылью, пускаемой в глаза; где ненависть сжимала сердца, подобно тому, как лед стискивал эту лодку с ее веслами, разбросанными, как бессильные руки; и маленькая ладонь Зоси в его руке была лишь крошечным ледяным осколком этой вселенской стужи. Девушка обняла его за шею, прижалась к нему и тоже расплакалась, но не потому, что ее сердца коснулась неизбывная мировая скорбь, а потому, что он казался ей таким грустным и потерянным, что она даже не знала, чем ему помочь.

Только Добранский понимал, что происходило

в душе юноши. На следующее утро, когда они шли вдвоем через камыши сменять партизан, стоявших на часах на краю болота, он сказал ему:

— Скоро это кончится. Возможно, будущей весной. И тогда, клянусь тебе, не будет ни ненависти, ни убийства. Вот увидишь. Мир и строительство новой жизни… Вот увидишь.

— Он сидел на льду, — сказал Янек, — в коньках и пестром шарфе… Его наверняка связала ему мать или невеста… Ему было не больше, чем тебе. Он даже не взглянул на меня. Он смирился: просто наклонил голову и ждал выстрела. Я хорошо прицелился и нажал на курок.

— Ты не мог поступить иначе, Янек. Они сами виноваты. Это они затеяли весь этот кошмар.

— Всегда найдется кто-нибудь, кто его затеет, — со злостью сказал Янек. — Тадек Хмура был прав. В Европе самые старые соборы, самые старые и прославленные университеты, самые большие библиотеки, там получают самое лучшее образование — со всех уголков мира люди приезжают в Европу учиться. Но, в конечном счете, это хваленое европейское воспитание учит нас только тому, как найти в себе мужество и веские, неопровержимые доводы для того, чтобы убить человека, который ничего тебе не сделал и

который сидит себе на льду, в коньках, наклонив голову и дожидаясь своего конца.

— Ты многому научился, — печально сказал Добранский.

Он остановился в снегу, доходившем до колен, и, подняв голову, заговорил. Он заговорил о свободе и дружбе, о прогрессе, мире, братстве и вселенской любви; он говорил о людях, совместно трудящихся и пытающихся раскрыть, наконец, смысл и тайну мира; он говорил о культуре, искусстве, музыке, школах, университетах, соборах, книгах и красоте… Внезапно Янеку показалось, что Добранский не говорит, а поет. Он стоял в снегу в своем черном кожаном плаще, из-под которого выглядывала военная гимнастерка, с портупеей, узкоплечий, а глаза горели такой надеждой и радостью, что его красивое лицо светилось; подняв руки, он непрестанно и столь оживленно жестикулировал, что, по контрасту, холодная неподвижность обледенелых деревьев вокруг, казалось, несла на себе печать насмешливой враждебности. Он не говорил, а пел. Он пел, и в его вдохновенном голосе звенела сила и красота всех бессмертных песен человечества.

— Никогда больше не будет войн, американцы и русские братски объединят свои усилия и

построят новый, счастливый мир, из которого навсегда будут изгнаны боязнь и страх. Вся Европа станет единой и свободной; и наступит такое плодотворное и творческое духовное возрождение, о котором человек не мечтал даже в самые возвышенные минуты…

«Сколько соловьев, — думал Янек, — пело вот так в ночи, на протяжении веков? Сколько доверчивых и вдохновенных людей-соловьев погибло с этой вечной и чудесной песнью на устах? Сколько их еще умрет в холоде и страданиях, в презрении, ненависти и одиночестве, до того, как сбудется обещание их упоительных голосов? Сколько еще веков? Сколько рождений, сколько смертей? Сколько молитв и грез, сколько соловьев? Сколько слез и песен, сколько голосов в ночи? Сколько соловьев?»

Янеку было всего лишь пятнадцать, на десять лет меньше, чем его другу, но внезапно его охватило горячее, заботливое, почти отеческое чувство к этому студенту, и он боялся показаться ироничным, боялся напустить на себя снисходительный, умудренный опытом вид. Он старался не улыбнуться, не пожать плечами, не спросить его горько: «Сколько соловьев?»

Он положил руку студенту на плечо и тихо

сказал ему:

— Пошли. Они ждут нас и, наверно, уже волнуются.

Эпилог

Младший лейтенант польской армии Твардовский машет шоферу:

— Остановитесь здесь. Дальше я пойду пешком.

Лес шевелится и шумит в солнечных лучах. Трудно совладать с нахлынувшими воспоминаниями, не уловить в трепете листвы какое-то таинственное волнение, не ощутить того, что тебя узнали и радушно встречают. Сквозь лесной шум вдруг слышится голос старшего из братьев Зборовских: «Свобода — дитя лесов. Здесь она родилась и здесь же прячется, когда приходится худо».

— Вас подождать, лейтенант?

— Нет, я надолго. Съездите пообедайте и через два часа возвращайтесь.

Янек носит форму последние дни: через месяц начнется учеба в варшавской Музыкальной академии. Приятно слышать голос польского солдата, обращающегося к тебе по званию, приятно, не прячась, идти по дороге, на которой уже давно простыл след врага. А еще приятнее нащупывать

в кармане маленький бесценный томик, словно сдержанное обещание. Все деревья на месте: они живучие. Те, что были молоды, подобно ему, выросли; Янек знает каждую сосенку, каждый кустик; морщины на жесткой коре — словно морщины на лицах постаревших друзей. Вот высокий дуб с отеческими ветвями, к могучему стволу которого прижимался испуганный подросток. Он тоже нисколько не изменился, и ветви шепчут все те же слова на языке дубов. Вот только Янек уже не настолько молод, чтобы их понимать. У дубов тоже, наверное, есть свои легенды о героях, прекрасные песни и детские сказки, полные надежд и золотых обещаний, и когда их срубают, возможно, они тоже думают, будто умирают за бессмертное правое дело, и, падая, мечтают о каком-то совершенно счастливом лесе, что однажды поднимется там, где они упали. Если бы у человека не было сердца, на земле не существовало бы отчаяния.

Вот то место, где под первые далекие залпы освободительных орудий они атаковали немецкий пост. Янек ускоряет шаг и оборачивается. Бывают призраки, не исчезающие даже при ясном свете дня… Раненный во время стычки немецкий сержант лежит посреди дороги, а во-

круг него, как сумасшедшая муха, мечется и гудит обезумевший Станчик. У него в руке нож, и трое братьев Зборовских из последних сил пытаются помешать ему совершить задуманное.

— Обеих! Обеих! — раздается в лесу отчаянный вопль.

Немец прикрывает руками рану, но в его лице — только голый страх. Он умоляет хрипящим голосом:

— *Menschenkinder, Menschenkinder! Bitte, lassen Sie ihn nicht… Menschenkinder!*[86]

— Обеих! — кричит Станчик. — Дайте мне его!

Охваченный жалостью, Янек хватается за револьвер.

— *Ja,* — просит, заикаясь, немец, — *gut! gut!.. schnell, bitte*! [87]

Он всю жизнь будет помнить улыбку облегчения, застывшую на губах мертвеца. Лес становится гуще, и его голос — глубже; ветки дружески треплют Янека по лицу. А вдруг сосны сейчас расступятся, и навстречу ему выйдет, мигая глазом, Черв, или же он услышит насмешливый голос старика Крыленко:

---

[86] Примечания: 86
Ребята, ребята! Не дайте ему это сделать… Ребята! *(нем.)*

[87] Примечания: 87
Да, хорошо… Быстрее, прошу вас! (нем.)

— Можешь пойти с нами, бледнолицый! Добро пожаловать в наш иглу!

— Вигвам, — непроизвольно шепчет лейтенант Ян Твардовский.

— Чего?

— У краснокожих — вигвамы. Иглу — это у эскимосов.

Но Черв погиб, а старик-украинец вернулся в Рябинниково, жители которого, во главе с козаком Богородицей, тепло его встретили. На флажках, что несли деревенские ребятишки, было написано: «Привет отцу освободителя Сталинграда!», и если вам доведется заглянуть в мастерскую сапожника Савелия Львовича Крыленко, он охотно расскажет вам, как благодаря его родительским советам и большому опыту его сын Дмитрий освободил этот героический город…

Янек останавливается. Вот землянка. Он видит серьезное лицо отца и слышит его голос.

— Наберись терпения, Старина Шаттерхенд. На Волге, под Сталинградом, люди сражаются за нас.

— За нас?

— Да. За тебя и за меня, и за миллионы других людей.

В кустах что-то зашевелилось. Всего лишь бел-

ка, но призрака так легко спугнуть.

— Удачи тебе, Старина Шаттерхенд, — шепчет далекий голос.

Янек смотрит на землянку. Лес хорошо о ней позаботился. Место, где родился его сын, поросло мхом и сорной травой. Он думает о той августовской ночи, когда услышал Зосины стоны. Он видит ее покрытое испариной лицо, ее глаза затравленного зверька. Рядом Махорка: закатав рукава, крестьянин возится с огнем, греет воду и готовит новенькие пеленки. Рискуя жизнью, Махорка украл их утром того же дня на одном из хуторов.

— Пушка пальнула, — говорит он. — Это хороший знак… Свободный человек родился!

Янек чувствует, как сжимается ладонь Зоси у него в руке.

— Уйди, — приказывает Махорка. — Когда все кончится, я тебя позову.

Янек выходит из землянки и слышит, как вдалеке грохочет наше орудие. И вдруг из-под земли доносится дрожащий крик, слабая жалоба, первое недовольство… «Уже!» — думает он с бесконечной нежностью… Но все это давно в прошлом, старая ржавая дверь больше не заскрипит на своих петлях, его сын в Вильно вместе с матерью,

мальчику три года, и он уже ходит. Яма засыпана землей, как и подобает могиле.

— Ну же, Старина Шаттерхенд, не плачь.

— Я не плачу, — говорит лейтенант Твардовский, вытирая слезы. — Но он был моим лучшим другом.

Слезы не прогоняют призраков, они вызывают их. Янек видит Добранского, лежащего на траве на берегу Вилейки, и слышит залпы на другом берегу реки.

— Не говори. Береги силы. Они в десяти километрах. У них есть врачи, полевые госпитали. Они спасут тебя.

— Янек.

— Не говори, прошу тебя.

— Они точно прицелились, сволочи.

— Да. Они очень хорошо целятся. Больно?

— Да.

— Слышишь залпы? Они будут там с минуты на минуту. Они выходят тебя. Тебе не будет больно.

— Меня там уже не будет.

— Молчи. Куда ты денешься? Тебе суждено быть там и встретить их.

— Нет. А жаль. Все равно что видеть руку друга и быть не в силах пожать ее.

— Не надо было тебе выходить. Никто не вы-

ходил. Ни Зборовские, ни Янкель. Нужно было подождать всего несколько часов. Мы ведь ждали целых три года…

— Мне хотелось пожать им руку…

— Не говори, прошу тебя. Береги силы.

— Как много… пушек… Ничего… кроме пушек…

— Скоро все будет по-другому.

— Да. Будет музыка и книги, хлеб и тепло для всех… Никаких войн. Никакой ненависти…

— Вот именно.

Теперь его глаза улыбались. Они смотрели в небо.

— Новый мир… Труд и радость, одна на всех…

Плечи, которые обнимал Янек, были такими узкими, и сердце под убогой гимнастеркой еле билось, но сила и красота этого голоса казались ему теперь безграничными. Соловей пел:

— Я думаю… На этот раз все будет по-другому… Больше не придется начинать все сызнова… Мы пойдем к свету…

…Сколько соловьев? Сколько еще песен, прекрасных песен?

Над лесом со свистом пролетел снаряд. Лицо студента было совсем бледным, но глаза и губы по-прежнему улыбались.

— Янек…

— Я здесь.

— Мы… победили…

— Верно.

— Это будет… необычная… победа…

— Конечно.

— Ничто важное не умирает…

— Да, я знаю…

Ему хотелось сказать: «Знаю я эту песню». Но он сказал только:

— Знать — мало.

— Ничто важное не умирает… Только… люди… и бабочки…

…По земле, между камешками, ползут длинные вереницы муравьев. Миллионы крошечных, суетливых муравьишек, каждый из которых верит в величие собственной задачи, в высшую значимость той былинки, которую он с таким трудом на себе тащит…

— Янек.

— Я здесь. Я с тобой.

— Я не успел закончить книгу.

— Успеешь.

— Нет. Закончи ее вместо меня.

— Ты сам закончишь ее.

— Пообещай мне…

— Обещаю.

— Расскажи им о голоде и холоде, о надежде и любви…

— Расскажу.

— Я хочу, чтобы они гордились нами и стыдились…

— Они будут гордиться собой и стыдиться нас.

— Постарайся… Нужно, чтобы они знали… Нельзя, чтобы они забыли… Расскажи им…

— Я расскажу им все.

Лейтенант Твардовский вынимает из кармана маленький томик и кладет его на землю, на муравьиную дорожку. Но это не заставит муравьев свернуть со своего вековечного пути. Они влезают на преграду и равнодушно, торопливо ползут по горьким словам, напечатанным на бумаге большими черными буквами: «ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». Они упорно тащат свои смешные травинки. Книга не заставит их сбиться с Пути, которым следовали до них миллионы других муравьев и который другие миллионы проложили. Сколько тысячелетий они уже трудятся и сколько тысячелетий предстоит еще трудиться этому смешному, трагическому и неутомимому племени? Сколько новых соборов воздвигнут они своему Богу, наградившему их таким хрупким

телосложением и столь тяжелой ношей? Зачем бороться и молиться, надеяться и верить? Мир, в котором страдают и умирают люди, ничем не отличается от мира, в котором страдают и умирают муравьи: это жестокий и непостижимый мир, где главное — нести все дальше и дальше нелепую травинку или соломинку, все дальше и дальше, в поте лица своего и ценой своих кровавых слез, дальше и дальше! не останавливаясь даже для того, чтобы перевести дыхание и спросить, зачем… «Люди и бабочки…»